



**ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ**



Большие буквы

АНТОН ЧЕХОВ

**Большое собрание  
юмористических рассказов**

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

**Чехов А. П.**

Большое собрание юмористических рассказов / А. П. Чехов —  
«Эксмо», 2021 — (Большие буквы)

ISBN 978-5-04-155251-0

Знаменитый Антон Павлович Чехов (1860–1904) первые шаги в русской литературе делал под псевдонимами Антоша Чехонте, «Человек без селезенки», «Брат моего брата», как автор юмористических рассказов и фельетонов, которые издавались в сатирических московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза» и вошли в первые книги начинающего автора. Именно первые сборники А. Чехова – «Шалость», «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы», а также рассказы, печатавшиеся в журналах «Осколки», «Зеркало» и др., – включены в это издание, раскрывающее и эту грань таланта признанного во всем мире писателя. Книга представляет наиболее полное собрание юмористических рассказов и фельетонов А.П. Чехова.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-155251-0

© Чехов А. П., 2021  
© Эксмо, 2021

## Содержание

Шалость	24
Письмо к ученому соседу	24
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь	27
Папаша	30
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь	34
Перед свадьбой	36
Жены артистов	39
Петров день	47
Темпераменты	55
В вагоне	57
Грешник из Толедо	61
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя	65
Случай первый	65
Случай другой	66
Случай третий	67
Летающие острова	69
Глава I	69
Глава II	69
Глава III	70
Глава IV	71
Глава V	72
Глава VI	72
Заключение	73
Сказки Мельпомены	74
Он и она	74
Два скандала	79
Барон	85
Месть	89
Трагик	93
Из сборника «Пестрые рассказы»	95
Темною ночью	95
На гвозде	96
Размазня	97
Патриот своего отечества	99
Случай из судебной практики	100
Загадочная натура	102
Вербя	104
Вор	106
Раз в год	109
Герой-барыня	112
Смерть чиновника	114
Добродетельный кабатчик	121
Дочь Альбиона	123
Краткая анатомия человека	125
Шведская спичка	127
Отставной раб	138

Осенью	140
Толстый и тонкий	143
Клевета	145
В Рождественскую ночь	147
Орден	151
Комик	153
Репетитор	154
Певчие	156
Трифон	159
Дачница	161
Русский уголь	163
Брожение умов	166
Экзамен на чин	168
Хирургия	170
Хамелеон	172
Конец ознакомительного фрагмента.	173

# **Антон Чехов**

## **Большое собрание юмористических рассказов**

В книге сохранены авторские знаки препинания

Сопроводительная статья подготовлена *Л. П. Чудаковым, М. Л. Чудаковой*

В коллаже на обложке использованы карикатуры из журнала «Будильник»

В оформлении вкладки в серии «Большие буквы» использованы фото: Mikhail Markovskiy, LIUDMILA ERMOLENKO / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com



© Чудаков А.П., Чудакова М.А., сопроводительная статья, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021



**Антон Чехов**  
**1860–1904**

Город, в котором родился Чехов, был как будто обычным заштатным городом Российской империи. Правда, в нем прожил свои последние дни Александр I, и Таганрог некоторое время был как бы столицей государства. Жители это помнили хорошо. Каждый год 19 ноября гимназистов собирали на панихиду в местном соборе.

Это был южный, портовый город. В разгар летней навигации пароходам и парусникам со всего света было тесно в гавани.

Таганрог ощущал себя городом морским. Открытый в 1874 году Таганрогский мореходный класс давал выпускникам дипломы штурманов малого плавания.

Крупная торговля накладывала отпечаток на всю жизнь и представления жителей города. Львиная доля торгового оборота была в руках греческих негоциантов, поэтому греков было много. «Таганрог – это греческое царство, – писал в 1877 году В. А. Слепцов. – Немножко похож на Киев, только здесь... греки. Все греки: разносчики, попы, гимназисты, мастера – греки. Даже вывески греческие».

Отец Чехова решил дать двум сыновьям, Николаю и Антону, греческое образование, и они один учебный год провели в греческой приходской школе.

На улицах Таганрога звучала разноязыкая речь – здесь были не только греки, но и турки, французы, англичане.

Пройдет время, Чехов узнает жизнь столиц, увидит Рим, Париж, Колombo, трезво оценит Европу, но непреодолимое чувство – тяга к «другому миру», – в пространстве ли (в Алжир, на Север), во времени ли (через 200–300 лет), останется, и не раз он выскажет его сам и выскажут его герои. Этого «краешка» Европы было достаточно, чтобы ощутить, как «грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен» средний заштатный российский город, и навсегда получить отвращение к этой лени и грязи. Врачебное образование еще более в этом его укрепит. И молодой Чехов уже будет удивлять современников: откуда у юноши из провинции такой врожденный вкус к изяществу и европейским формам жизни?

В последние гимназические годы Чехова из таганрогских газет постепенно стали исчезать списки иностранных кораблей, цены на фрахты и курсы лондонской биржи. Все чаще появлялись сообщения совсем другого свойства: «Ничего замечательного на нашем рынке не произошло. Совершенная бездеятельность, и заказов на весну никаких». Правда, все постоянно на что-то надеялись. Ощущение краха, неустойчивости и каких-то неясных надежд – та атмосфера, которая окружала Чехова в последние годы в родном городе. Но это уже был конец 1870-х, а в 1840-е – 1850-е годы все было иначе. Таганрог был признанным центром Приазовья, с ним не могли соперничать ни Бердянск, ни Мариуполь, ни даже Ростов. Именно в этом торговом центре скрестились пути будущих родителей Чехова.





Антон Павлович Чехов родился в Таганроге 29 января 1860 года (по новому стилю), в доме на Полицейской улице (ныне Чеховская улица, дом 47). Дом на Полицейской улице был маленьким домиком из земляного кирпича (кое-где на юге и в Средней Азии его называют «саман»), белёным снаружи и внутри. Он сохранился. В нем три комнатки, общей площадью 23 квадратных метра. Увидев его снова уже взрослым, Чехов писал: «Дивлюсь, как это мы могли жить в нем?»

Сведения о раннем детстве Чехова восходят в основном к двум источникам: воспоминаниям Александра Павловича, самого старшего из детей Чеховых, и Михаила Павловича – самого младшего. В рисуемых картинах жизни семьи эти источники сильно разнятся, а в некоторых существенных деталях просто противоположны. Ал. П. Чехов особо подчеркивает депотизм отца, его суровость по отношению к детям, говорит о телесных наказаниях, тяжелой работе Антона в лавке и резюмирует: «Ребенком он был несчастный человек». Этого будущий писатель «никогда не мог простить отцу», по собственным его словам.

Из письма Александра Чехова о том времени, когда Антону было 12–13 лет: «Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был глуп я тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста, я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно, в сопровождении Гаврюшки, прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал...»

С тех пор и до конца жизни не было человека или доктрины, чьему влиянию, воздействию подчинился бы Чехов. И не было той силы – среды, семьи, обстоятельств, общественного мнения, – которая могла бы к этому его принудить.

Дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными. С малолетства их помощь в доме, в лавке, в занятиях родителей была уже существенной. Очень рано заработки детей, и прежде всего Антона, стали основой благосостояния семьи.

Старшие братья еще застали благополучное время и получили дополнительное домашнее образование. Когда подрос Антон, ничего этого уже не было. На долю Антона выпала самая большая самостоятельность – в 16 лет он остался в Таганроге один, без денег, в бывшем своем, но теперь чужом доме.

Когда говорят, что Чехов получил демократическое (в 1930-х годах писали: «трудовое») воспитание, то имеют в виду работу в лавке или портняжный эпизод. Но и то и другое все же было ремесло, дело, дающее реальные результаты. И не в этом было отличие детства будущего изобразителя будничной жизни от детства других русских писателей.

С самых ранних лет Чехов был погружен в быт. Хозяйство целиком вела Евгения Яковлевна. Помогали дети, чаще всего Антон, как самый безотказный.

Тяжесть такого быта – в утомительном однообразии, бессмысленной повторяемости домашних дел, которые на другой день в том же количестве набегают снова, в их отупляющей нескончаемости, что особенно тяжело для юного сознания, которое заполняется этим целиком. Но не только для юного – потом Чехов покажет, как при постоянном контакте с недуховным, при отсутствии внутреннего сопротивления человек погружается в «бытовое» полностью, как мир духовный целиком замещается миром вещно-бытовым. Эта ситуация была понята Чеховым не наблюдательски, но осознана и почувствована изнутри.



*Таганрогская гимназия, в которой учился Чехов*

Столь же насильственно мальчик Чехов был окунаем и в стихию церковнославянского языка – с обязательным посещением вечерни и заутрени (сначала с нянькою), слушанием акафистов дома, ежедневным чтением Евангелия и Псалтыри, пением в церковном хоре. Но – странное дело! – в гимназии на уроках закона Божьего он стал любимым учеником преподавателя этого предмета Ф. П. Покровского, обессмертившего себя придуманным своему ученику прозвищем Чехонте. В ранних рассказах пародируется стиль его писем к Чехову, в которых макаронически перемешивались церковнославянизмы со словами самыми современными.

...

Таганрог детства Антона имел еще один лик – степной, морской. Не морской торговый, но морской солнечный, песчаный. Город стоял на берегу теплого залива, и за шлагбаумом начиналась степь.

Приехав в родные места уже известным писателем, Чехов писал: «Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-Могилу [...], вспоминаю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен».

Но все это оказалось нужным ему самому, и не только как «материал» – это вошло в структуру его личности. Природа для Чехова – часть его существования. Всем этим он обязан своему степному детству.

В его рассказах человек «оприрожен», природа – очеловечена. Деревья, цветы, облака, собаки, волки чувствуют и думают, как люди («Агафья», «Каштанка», «Белолобый», «Страх»). Они огорчаются, радуются, волнуются, грустят. Волчиха из «Белолобого» – домашнее, понятное, чадолюбивое существо: «Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. [...] Ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая...».

В произведениях и в собственной жизни Чехов дал образцы истинной этики человека в его общении с братьями нашими меньшими.

Итак, с 16 до 18 лет, после разорения отца и бегства родителей в Москву, Чехов жил в Таганроге один. Знакомство с мировой культурой мальчик Чехов начал с Библии, знакомство с современной умственной жизнью – с газет.

В начале 70-х годов в провинции возникло множество частных газет; в Таганроге тоже появилась такая газета, называлась она «Азовский вестник» и выходила в 1871–1878 годах. Это была газета чеховского детства.

У многих из рассыпанных в чеховских сочинениях редких сведений, анекдотических историй, фактов («Бальзак венчался в Бердичеве»), заживших второй жизнью именно благодаря появлению в его произведениях, явственно чувствуется газетное происхождение.

Ощутимы были и издержки газетного образования. Отзвуки расхожих мнений – о немцах и Германии («страна стихов и бутербродов, пива и солдат»), французах, славянофилах (И. С. Аксакове), живописи – чувствуются в его ранней фельетонистике и юмористике, и освободился он от этого далеко не сразу.

Какую же литературу находил внимательный читатель – таганрогский гимназист – в этих газетах и журналах? Литература юмористических и иллюстрированных еженедельников была своеобразным зеркальным отражением литературы «большой» прессы и «толстых» литературно-художественных журналов. В «большой» прессе популярен очерк – «малая» пресса печатает очерки; появляется там сценка – «малая» пресса мгновенно заполняется сценками; в литературно-художественных журналах распространяется светская повесть – и «малая» пресса печатает повести.

Систематическим чтением этой литературы объясняется такое хорошее знакомство Чехова с ее стилистикой, ее приемами, ее словарем. Им же объясняется и то характерное для Чехова, но несколько необычное для человека 80-х годов отношение к романтическому эпигонству как к живому литературному явлению, достойному если не литературной борьбы, то пародийного осмеяния.

Пародирование возвышенно-романтического стиля и насмешку над нелепым употреблением «ученых» слов и оборотов мы находим в первом известном нам печатном произведении Чехова – «Письме к ученому соседу». «Потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого, т. е. подлунного».

С этим учено-выспренним стилем Чехов был тоже знаком с детства. Так писал его дед, Егор Михайлович: «Не имею времени [...] через сию мертвую бумагу продолжать свою беседу».

Но подобные языковые образования Чехов с детства слышал и в живой речи – в лавке, в таганрогском саду, клубе. Он сизмальства был погружен в стихию полукультурной мещанской речи, застрявшей где-то на полдороге от просторечия к интеллигентскому языку. И не случайно в русской литературе именно Чехову суждено было наиболее выразительно запечатлеть носителя этого языка, дать самую обширную галерею речевых портретов любителей «ученого» слога среди лиц самых разных профессий. «Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада!» – витийствует герой чеховского рассказа «Перед свадьбой», напечатанного через полгода после «Письма к ученому соседу». В рассказе «Умный дворник» (1883) о пользе наук рассуждает другой любитель книг, набравшийся из них ученых слов, – дворник: «Не видать в вас никакой цивилизации... Потому что нет у вашего брата настоящей точки».

В юмористических журналах и местной печати Чехов прочел и первые «сценки» – жанр, занимающий значительное место в его раннем творчестве. Возможно, с этого жанра и началось его творчество.





*Лавка в Таганроге, где работал Антон Чехов*

Среди влиятельнейших художественных впечатлений Чехова был театр. Страсть к драматическому искусству проявилась в нем рано, и все соученики помнят его завзятым театралом.

Гимназист Чехов был вхож за кулисы таганрогского театра. Здесь он завязал первые театральные знакомства: с Н. Н. Соловцовым, которому потом посвятит «Медведя» (1888) и о котором напишет заметку в «Новое время» (1889), с М. Ф. Яковлевым. Именно здесь Чехов познакомился с типами провинциальных актеров, изображенных во многих его рассказах – таких как «Барон» (1882), «Комик» (1884), «Бумажник», «Калхас», «После бенефиса», «Сапоги», «Средство от запоя» (все – 1885). «Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь заху-



далого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своею широкою натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей... Достаточно послушать воспоминания, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать» («Юбилей», 1886).

В апреле 1876 года Павел Егорович Чехов разорился, ему угрожала долговая яма. Он вынужден был бежать в Москву. Позже к нему выехали остальные члены семьи (Александр и Николай уехали еще раньше – учиться).

Для Антона Чехова начались годы самостоятельной и, несмотря на постигшую бедность, свободной жизни.



Это были годы лишений, твердости, мужества и одиночества. Все решалось наедине с собою, сомнения и колебания не выплескивались ни перед кем. Это стало фундаментом характера. Никто никогда не узнал, почему был выбран медицинский факультет (если не считать главной причиной советы Евгении Яковлевны и Павла Егоровича, что «медицинский факультет практичный», что это – «самое лучшее занятие»). Когда через много лет Чехова об этом спросили прямо, он написал: «Не помню». Не сохранилось никаких высказываний Чехова и об обстоятельствах решения оставить медицину – решения, давшего, надо думать, не вдруг и не просто. Точно так же, когда он станет уже известным писателем и ему будет 30 лет, никто из близких не узнает, как и когда он принял третье важнейшее решение, изменившее его мировосприятие и стоившее ему здоровья, – ехать на Сахалин, и сложится легенда, что путешествие было задумано «совершенно случайно», «как-то вдруг, неожиданно» (М. П. Чехов), под влиянием знакомства с лекциями брата по уголовному праву и тюрьмоведению.

В Таганроге Антон распродал оставшиеся вещи, отсылая деньги в Москву. Вещи покупали плохо или давали за них гроши. Трудности не делали Антона мрачным: он острит в письмах к братьям, в посылку вкладывает дверную петлю и бублик, шутит в письмах к родителям, которых это иногда обижает. «Мы от тебя получили 2 письма, наполнены шутками, а у нас в то время только было 4 коп. и на хлеб и на светло» (на освещение). Энергия в нем кипела – его хватало и на учебу, и на театр, и на дела по ликвидации «гнезда», и на литературные занятия, на посещение библиотеки и городского сада.

Предпоследние и последние гимназические каникулы Чехов проводил в городе, у моря и на хуторе у отца своего ученика Пети Кравцова. Впредь у моря и в степи он будет уже гостем.



Основы мировосприятия человека закладываются в детстве. И справедливее всего это по отношению к писателю. Человек взрослеет, приобретаются разнообразные сведения о мире, расширяется социальный опыт. Но некоторые главные черты мироощущения формируются в юные годы. Детство между душной лавкою и морем, коридорами гимназии и бесконечною степью, чиновно-казенным укладом и бытом вольных хуторян, жизнь, которая так явственно показывала значение того природно-вещного окружения, в которое погружен человек, – все это готовило и обещало необычное художественное восприятие мира.

Студенческая университетская среда оставила мало следов в сознании Чехова. Ни с кем он особенно не сблизился; им тоже интересовались мало. «В университете я начал работать в журналах с первого курса, – рассказывал Чехов А. С. Лазареву-Грузинскому, – пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом “А. Чехонте”, который, как видите, очень

похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что «А. Чехонте» – я, никто из них этим не интересовался. Знали, что пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела».

Среда у Чехова-студента была явно другая – и достаточно рано. Уже на первом курсе он стал печататься. В следующие несколько лет его продуктивность систематически растет, удивительно совмещаясь с учебой на таком трудоемком факультете. Удивительного, впрочем, мало – секрет был прост: постоянная напряженная работа, дневная и ночная, от которой он дергался по ночам в нервных судорогах и временами так худел, что его едва узнавали знакомые. Даже на лето в первые два года он из Москвы не выезжал (Воскресенск, Бабино были позже).

Взаимоотношения редакций юмористических журналов со своими авторами были иными, чем в солидных литературных журналах: с ними не церемонились. Так обращались не только с неизвестными дебютами. Чехову, уже напечатавшему в журнале около десятка вещей, среди которых были такие, как «Письмо к ученому соседу», «Перед свадьбой» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?», писали в том же духе: «Москва, Сре-тенка, г. А. Ч. Очень длинно и бесцветно, нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изот рта вытянутой» («Стрекоза», 1880, № 48).

Тематика иллюстрированного юмористического или иллюстрированного литературного журнала была связана с повседневным бытом, с бытом был сращен и сам журнал. Его редакция – это маленькое помещение, где тут же находится и редактор, который вполне может быть в халате и домашних туфлях.

Литературная школа, пройденная Чеховым в молодости, казалось, никак не могла сформировать оригинального художника. Главными жанрами юмористической прессы были так называемые «мелочи», писавшиеся по давно отвердевшим канонам, устоявшимся шаблонам. Чехов работал почти во всех этих жанрах. Одним из самых распространенных был жанр комического календаря и разнообразных «пророчеств». И Чехов ведет подобный юмористический календарь в марте – апреле 1881 года в журнале «Будильник».

Но жанр «мелочей» рано начал тяготить Чехова.

Раннее внутреннее противостояние путам «малой» прессы позволило Чехову взглянуть на нее свободно и непредвзято.

В юмористических журналах, в газетах в плане собственно литературном – в фабуле, приемах композиции, стиле – была несвязанность никакими художественными канонами. «Малая» пресса была принципиально разностильна. Каждый автор мог писать в любой манере, изобретать новое, реформировать старое, пробовать любые формы. Чехов почувствовал это очень рано. Беспреданно обращался он к новым манерам, повествовательным маскам, ситуациям из все новых и новых сфер жизни.

Когда кончались университетские занятия, плодовитость и работоспособность начинающего, почти дебютанта не уступали продуктивности Чехова – зрелого писателя. С мая до середины августа 1882 года написанное им составило целый том – более 200 страниц обычного формата. На самом деле написано было гораздо больше. Из первого пятилетия чеховского творчества до нас не дошло около трех десятков вещей – рассказов, юморесок, водевилей, пародий, публицистических заметок, рецензий. Не принятые в журналах, они пропали в недрах редакций или, возвращенные автору, в недрах семейных чеховских квартир, как и сотни других рукописей писателя.

В этом году жизнь Чехова мало была похожа на студенческую и гораздо больше – на жизнь профессионального литератора. Тем же летом он, собрав свои ранние рассказы, пытается издать сборник под названием «Шалость», к которому брат Николай сделал талантливые иллюстрации. Сборник был набран (сохранились два неполных экземпляра), но в свет не вышел.

Осенью начинается его сотрудничество в петербургском журнале «Осколки», который издавал Н. А. Лейкин (печатался там и сам издатель). Журнал этот стоит на первом месте по числу напечатанных чеховских вещей. В 1882–1887 годах в «Осколках» было опубликовано более двухсот произведений Чехова, в том числе его первый сборник рассказов «Сказки Мельпомены». Среди них «На гвозде», «Барон», «Смерть чиновника», «Он и она», «Трагик».

В 1884 году, получив степень лекаря, Чехов начинает работать в земской лечебнице под Воскресенском (г. Истра). Жил он в тех местах и позже: три лета (1885–1887) Чехов вместе с семьей провел в трех верстах от Воскресенска, в Бабкине. «Нанял я дачу с мебелью, овощами, молоком и проч., – писал Чехов Лейкину в конце апреля 1885 года. – Усадьба, очень красивая, стоит на крутом берегу... Внизу река, богатая рыбой, за рекой громадный лес, по сию сторону реки тоже лес...»

В Бабкине Чехов впервые близко сошелся с людьми другого круга, другого воспитания, которые спокойно, как об обычном, рассказывают о беседах с А. Н. Островским, А. С. Даргомыжским, П. И. Чайковским. То, что в среде разночинной богемы Чехов видел редко – изящество, манеры, вкус, – здесь было естественной нормой аристократического поведения.

«Он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой – Чехов всегда думал. (...) Благодаря этому он среди разговора присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги; благодаря этому, стоя лицом к лицу с вами, он вдруг начинал смотреть куда-то вглубь себя...» (В. А. Тихонов). В работу он включался мгновенно, не разрешая себе роскоши раскачки. Жестокая школа писания к сроку – независимо от настроения, здоровья, условий, времени суток – выработала литературного профессионала высокого класса.

Рассказ «Егерь» (1885), очень выверенный литературно, Чехов написал в купальне, лежа на животе на полу, карандашом; тут же, не переписывая, заклеил в конверт и по пути домой занес на почту.

Рассказ обычно сначала долго обдумывался – во время езды на извозчике в дальние концы, рыбной ловли, в грибном лесу и, наконец, во время хождения из угла в угол по комнате. Потом он писал не отрываясь. Если дело шло и рассказ был короткий, он мог быть занесен на бумагу за два – два с половиной часа.





*А.П. Чехов в 1883*

В течение двух лет (с перерывами) Чехов вел постоянное фельетонное обозрение «Осколки московской жизни» в журнале «Осколки». О чем он писал? О крушении на железной дороге, страховании скота от чумы, об Академии художеств, канализации, о колокольном звоне, порядках в Зоологическом саду, о московских увеселительных заведениях, о грязи на фабриках, о собачьем вопросе и собачьем приюте, о жизни мальчиков-приказчиков, о театрах, о питьевой воде...

Просмотрев рассказы Чехова первых пяти лет, можно убедиться, что трудно назвать тот социальный слой, профессию, род занятий, которые не были бы представлены среди его героев.

В читательском сознании и сегодня сосуществуют два Чехова: автор «Толстого и тонкого», «Хамелеона», «Лошадиной фамилии», «Жалобной книги» – и автор «Скучной истории», «Дома с мезонином», «Дамы с собачкой». Кажется: что общего между ними? Так думали уже современники. «Трудно найти какую-нибудь связь, – писал в 1897 году Н. К. Михайловский, – между “Мужиками” и “Ивановым”, “Степью”, “Палатой № 6”, “Черным монахом”, водевилями вроде “Медведя”, многочисленными мелкими рассказами». Меж тем связь эта тесна; роль «юмористического» прошлого в создании новаторского художественного мышления Чехова значительна.

Многие художественные принципы, выработанные в первое пятилетие работы, навсегда останутся в прозе Чехова.

Никаких предварительных подробных описаний обстановки, экскурсов в прошлое героев и прочих подступов к действию – оно начинается сразу. Отсутствуют развернутые авторские рассуждения, они всегда сжаты (там, где есть вообще).

Герой юмористического рассказа погружен в мир вещей. Он не существует вне ближайшего предметного окружения, он не может быть изображен без него. И он изображается в бане, в больнице, в вагоне поезда и вагоне конки, за ужением рыбы и вытаскиванием апельсиновых корок из графина. Персонаж юмористических рассказов – целиком погружен в заботы: как доехать до дачи, как заснуть, когда над головой и за стеной нажаривают на фортепьяно или рыдают, как получить обратно свои, хорошие, сапоги взамен надетых по ошибке чужих, с заплатками и стоптанными каблуками. Возможно, этот герой и позволил увидеть, как тесно сращен человек с обступившими его вещами. И может быть, именно благодаря этому герою Чехов пришел к мысли, что к своему вещному окружению прикован любой человек, что он не может оторваться от него ни в какой момент своей жизни – и только так он и может быть изображен.

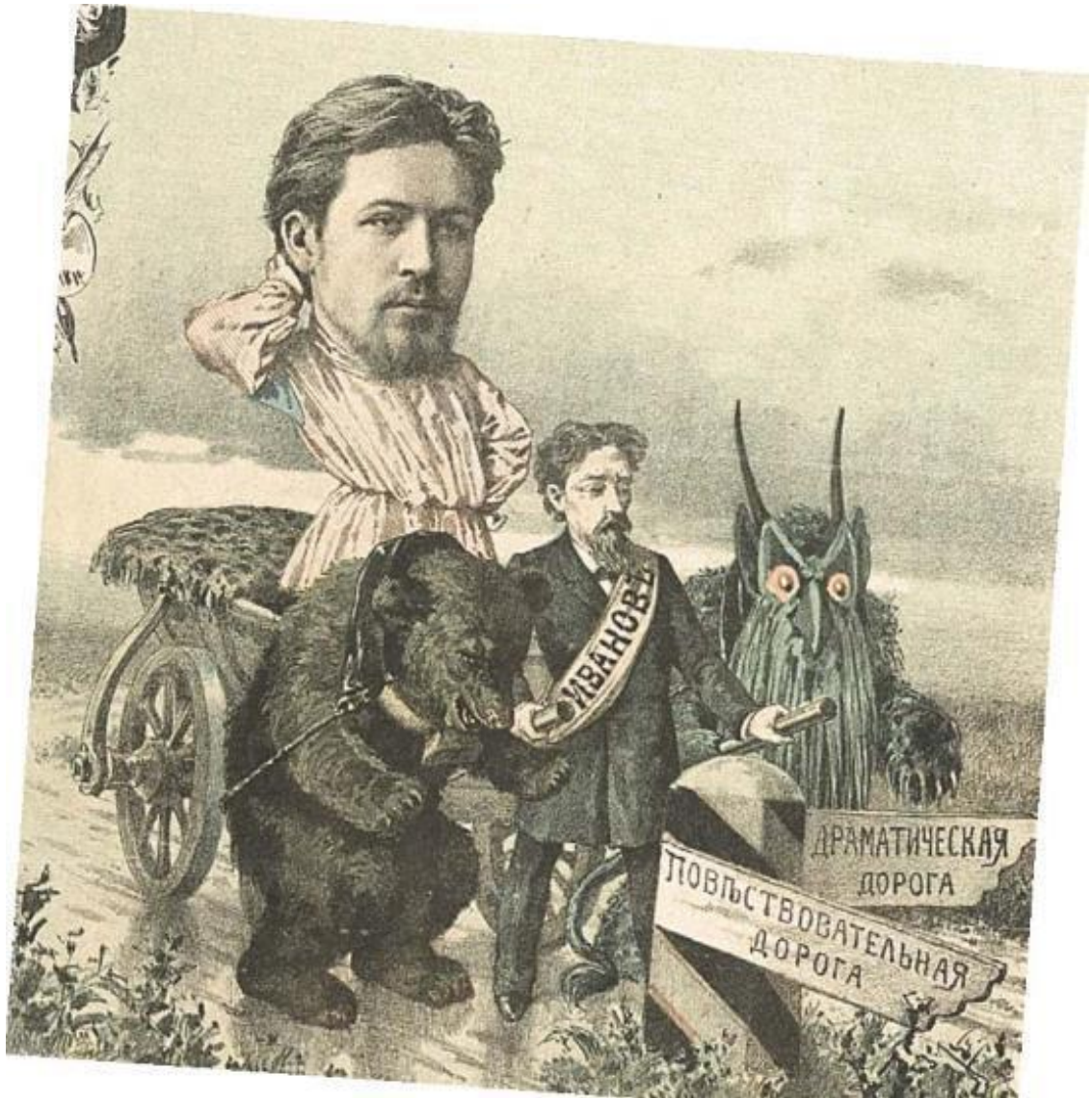
Не может оторваться он и от окружающей его природы – она полноправный герой в любых рассказах, пьесах, повестях. Пейзаж также запечатлевает трепетный, меняющийся облик мира, сближая явления природы с миром бытовых явлений и вещей.

И писал он не об уникальной жизни человека наедине с природой в краю непуганых птиц, а о повседневном общении с ней человека современной цивилизации в условиях города, квартиры, пригородной дачи.

Когда Чехонте стал Чеховым, то его новый художественный мир – мир «Дуэли», «Дома с мезонином», «Архиерея» – уже не помнил о своем «юмористическом» происхождении, но приемы, отшлифованные в ежедневном написании коротких рассказов (позже заговорят о его «импрессионизме»), вошли в его более позднее творчество – случайные предмет и ситуация.

Каждая чеховская вещь, несмотря на «малый жанр», в котором она была написана, поднимает огромные пласты жизни общества. Знаменитые чеховские детали демонстрируют, что всякая картина – как бы «сегмент», вынута «целиком» из круга жизни вместе со всеми главными и побочными чертами. Это его пристальный интерес к человеку во всей полноте его существования, где важно и интересно все.

Конец 1880-х – начало 1890-х годов – время расцвета таланта Чехова. Появляются новые сборники его рассказов. За сборник «В сумерках» в 1888 году 28-летнему писателю присуждена Пушкинская премия.



При этом в 1889 году могли появиться и вот такие рецензии критиков, где его обвиняли в «мелочности концепции»: «Мозаичное письмо г. Чехова имеет лишь кое-какие внешние достоинства: довольно опрятную форму, живой, литературный язык и юмор, — очень дешёвенький и неглубокий, но местами бесспорно жизненный» («День» 1889, 2 сентября N 471, с. 2)



Впрочем, критика преследовала Чехова с самого начала и до самого конца – и как беллетриста, и как драматурга, хотя художественное видение его постепенно менялось, особенно под влиянием его поездки на Сахалин, куда он внезапно сорвался весной 1890 года, в самый разгар своих литературных успехов. В 1900 году в Ялте, когда жить ему оставалось совсем недолго, он занялся проблемами туберкулезных больных. И так было всю его жизнь.

Мечта и мысль Чехова были обращены к человеку подвижнического труда. Если перечислить даже не полно, что делал в своей жизни сам Чехов, то можно подумать, что речь идет об



общественном деятеле. Он лечил, организовывал помощь голодающим губерниям, был заведующим холерным участком, строил школы, больницы, укомплектовывал общественные библиотеки, выступал с обращениями о помощи и сам, лично, помог сотням людей в их нуждах и бедах; печатал публицистические статьи; написал книгу о каторжном острове – Сахалине, проделав для этого путь через всю Сибирь, в том числе четыре тысячи верст на лошадях. Это делал человек, никогда не отличавшийся крепким здоровьем. И все это наряду с непрекращающимся, гигантским литературным трудом, с созданием произведений, открывших новую страницу в мировом искусстве.

*Александр Чудаков*

*Подготовка и обработка текста Мариш Чудаковой.*



## Шалость

### Письмо к ученому соседу

*Село Блины-Съедены*

Дорогой Соседушка

Максим (забыл как по батюшке, извините великодушно!) Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на шот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен маргышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана

(Манора). Абат значит католический поп. Извините меня неуча за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недостижимости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятна, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестизэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне дорогой соседусшко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Майор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен

Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабаке анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извините меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

*Василий Семи-Булатов.*

## За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Пробило 12 часов дня, и майор Щелколовов, обладатель тысячи десятин земли и молодой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга, майора Щелколобова, бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его, Щелколобова, тупоумие, мужицкие манеры и склонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака; кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слышал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате.

– Эй, болваны! – крикнул он.

Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер, куафер и полomoйка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно заморгнул глазами.

– Послушай, Пантелей, – начал майор, – я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот так! Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?

– Буду-с.

– Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?

Пантелей закрыл рот рукою и преглупо ухмыльнулся.

– Кажинный вторник, ваше в<ысокоблагороди>е! – пробормотал он и захихикал.

– Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешись при мне: я этого не люблю. (Майор подумал.) Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?

– Не одни, ваше в-е!

– Пример!

– В городе есть судья Петр Иванович... Извольте знать? Я у них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово, то есть... а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите! Да и меня за компанию ни с того ни с сего в бок, бывало, саданут. Бьют барыню да и говорят: «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жисти предел положить...»

– Ну, а она что?

– Простите, говорит.

– Ну? Ей-богу? Да это отлично!

И майор от удовольствия потер себе руки.

– Истинная правда-с, ваше в-е! Да как и не бить, ваше в-е? Вот, например, моя... Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела... Нешто это возможно? Гм!..

– Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать? Не берись не за свое дело! Что барыня делает?

– Спят.

– Ну, что будет, то будет! Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне... Постой!.. Как на твой взгляд? Я похож на мужика?

– Зачем вам походить, ваше в-е? Откудова это видно, штоб барин на мужика похож был? И вовсе нет!

Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.

– Душенька! – сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном вошедшей к нему хорошенькой двадцатилетней майорше, – не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?

– С удовольствием, мой друг! – ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора.

– Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься... Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?

– А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закуску? Я ужасно есть хочу...

– Я уже взял закуску, – ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.

Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова? Какова? Какова?» – бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» – забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки.

– Что с тобой, Аполлоша? – спросила майорша, с удивлением глядя на мужа.

– Так я, – забормотал он, – баааран? Так я... я... кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты... я...

Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью и в лодке... о tempora, о mores!..<sup>1</sup> поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением... Не успел майор Щелколовов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и...

В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волостной писарь Иван Павлович и, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите!» – кричали майор и майорша. Писарь, не долго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал втупик.

«Кого спасать? – подумал он. – Вот черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выразившую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу.

– Кто-нибудь один! – сказал он. – Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?

– Ваня, голубчик, спаси меня, – пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора, – меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым! Ай, ай, я утопаю!

– Иван! Иван Павлович! По-рыцарски!.. того! – забасил, захлебываясь, майор. – Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом-благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет... Озолочу с ног до головы... Да ну же, спасай! Какой же ты, право... Женюсь на твоей сестре Марье...

---

<sup>1</sup> О времена, о нравы! (лат.)



Ей-богу, женюсь! Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней! Не спасешь меня – убью, жить не позволю!

У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными – одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит! «Спасу-ка обоих! – порешил он. – С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстух майора и поплыл, кряхтя, к берегу. «Ногами болтайте!» – командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня – жена, майор – зять... Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся да дорогие цыгары курить будем! Слава тебе, господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддержала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он... вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезши из воды, густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.

На другой день Иван Павлович, по проискам майора, был удален из волостного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к своему милому барину».

– О, люди, люди! – вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда, – что же благодарностию вы именуете?

## Папаша

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаша спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаша и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

– Пампушка, – сказала она, садясь на папашины колени, – я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

– Что тебе? – спросил он.

– Вот что, папочка... Что нам делать с нашим сыном?

– А что такое?

– А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец, если не хочешь... не можешь быть мужем!

– Опять свое! Слышал тысячу раз уж!

Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаша.

– Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды.

– Ты про правду пришла рассказывать или про сына?

– Ну, ну, не буду... Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес.

– Ну, так что ж?

– Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс!

– Пускай не переходит. Невелика беда. Лишь бы учился да дома не баловался.

– Ведь ему, папочка, пятнадцать лет! Можно ли в таких летах быть в третьем классе?

Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку... Ну, на что это похоже?

– Выпороть нужно, вот на что похоже.

Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаша, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки.

– Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори... Сын наш не виноват... Тут интрига... Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает, в этом я уверена!

– Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился... Сядь-ка, мать моя, на стул... Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях.

Мамаша спорхнула с колен папаша, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.

– Боже, какое бесчувствие! – прошептала она, усевшись и закрыв глаза. – Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив... Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу!

– Допустишь, коли негодяй скверно учится... Эх, вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен... позаняться...

Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру.

– Папочка, я не уйду... я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи... Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку... Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса!

– Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шлаться.

– Нет, пойдешь, папочка!

– Не пойду... Слово твердо... Ну, уходи с богом, душенька... Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем...

– Пойдешь!

Мамаша поднялась и возвысила голос.

– Не пойду!

– Пойдешь!! – крикнула мамаша. – А если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то...

Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру... Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук... Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получают одними только гимназистками, богачами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводит у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына».

По обыкновению большинства папашей, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что, будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна.

– Здравствуйте! – сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату.

– Извините, – начал папаша с улыбочкой, – я, может быть, того... вас в некотором роде беспокоил... Очень хорошо понимаю... Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться... Не из безызвестных, как видите... Тоже служака... Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь!

Г-н учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел.

– Я, – продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы, – пришел с вами поговорить-с... Мм-да... Вы, конечно, меня извините... Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста... Ха-ха-ха! Вы в университете обучались?

– Да, в университете.

– Так-ссс!.. Н-ну, да... А сегодня тепло-с... Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили... Мм... да... Но это ничего, знаете... Кто чего достоин... Ему же дань – дань, ему же урок – урок... Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?

– Как вам сказать? Не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает.

– Почему же он плохо знает?

Учитель сделал большие глаза.

– Как почему? – сказал он. – Потому, что плохо знает и не занимается.

– Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается! Я сам с ним занимаюсь... Он ночи сидит... Он все отлично знает... Ну, а что пошаливает... Ну, да ведь это молодость... Кто из нас не был молод? Я вас не беспокоил?

– Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже... Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов... Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем – это доверие.

– Разумеется... Главное – не вмешиваемся... Значит, сын мой не перейдет в IV класс?

– Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка?

– Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики?.. Хххе!.. Исправите?

– Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости... Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности.

– М-молод... Что поделаешь?! Да вы уж переправьте на троечку!

– Не могу!

– Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч!

– Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу!

Папаша мигнул одним глазом.

– Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить... Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку... Где же тут справедливость?

Учитель сделал большие глаза и... только; а почему он не обиделся – это останется для меня навсегда тайною учительского сердца.

– С намерением, – продолжал папаша. – Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен... Ему же дань – дань... Понимаю службу, как видите... Как ни прогрессируйте там, а... все-таки, знаете... ммда... старые обычаи лучше всего, полезнее... Чем богат, тем и рад.

Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя.

– Извольте-с!

Учитель покраснел, съежился и... только. Почему он не указал папаше на дверь – для меня останется навсегда тайной учительского сердца...

– Вы, – продолжал папаша, – не конфузьтесь... Ведь я понимаю... Кто говорит, что не берет, – тот берет... Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать... Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с!

– Нет, ради бога...

– Мало? Ну, больше дать не могу... Не возьмете?

– Помилуйте!..

– Как прикажете... Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так я прошу, как мать... Плачет, знаете ли... Сердцебиение там и прочее...

– Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу.

– Если сын не перейдет в IV класс, то... что же будет?.. Ммда... Нет, уж вы переведите его!

– Рад бы, но не могу... Прикажете папиросу?

– Гранд мерси... Перевести бы не мешало... А в каком чине состоите?

– Титулярный... Впрочем, по должности VIII класса. Кгм!..

– Так-sss... Ну, да мы с вами поладим... Единым почерком пера, а? идет? Хе-хе!..

– Не могу-с, хоть убейте, не могу!



Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать *его* по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило.

– Ваня, тебе пора ехать! – крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигуркой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь.

– Вот что, – сказал он папаше. – Я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам.

– Честное слово?

– Да, я исправлю, если они исправят.

– Дело! Руку вашу! Вы не человек, а – шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?

– Хоть сейчас.

– Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту?

– С удовольствием. Будьте здоровы!

– О ревуар!<sup>2</sup> Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек!.. Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме... Заходите же!

Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился.

«Славный малый, – подумал г. учитель, глядя вслед уходившему папаше. – Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно... Люблю таких людей».

В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло.

---

<sup>2</sup> До свидания! (от *франц.* – *Ou revoir.*)

## Тысяча одна страсть, или Страшная ночь (Роман в одной части с эпилогом)

*Посвящая Виктору Гюго*

На башне Св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь – это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни Св. Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал 28. Я указал на них Теодору.

– Нехорошее предзнаменование! – пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора.

Ветер стонал, выл, рыдал... Стон ветра – стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и загло восьмизэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтора дома? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающей гармонией стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?

Пугливая, но дерзкая мечта!!!

Мы крикнули кошэ. Мы сели в карету и помчались. Кошэ – брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.

– Антонио, куда ты меня везешь? – простонал Теодор. – Ты смотришь злым гением... В твоих черных глазах светится ад... Я начинаю бояться...

Жалкий трус!! Я промолчал. Он любил *ее*. Она любила страстно его... Я должен был убить его, потому что любил больше жизни ее. Я любил *ее* и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они – духовные вандалы.

– Стой! – сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели.

Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана – пасть земли.

– Проклятие!!! – закричал он в ответ на мое проклятие.

Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, – величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!

*Кошэ*. Кошэ – статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга – результат божественной реакции, произво-

димой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы и освобождение от оков.

Я зашел в гостиницу «Фиолетового гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина.

Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного – четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.

– Анета! – крикнула *она*. – Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета! Сходи за ним. Он, наверно, кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!

Я вошел к ней. Она побледнела.

– Подите прочь! – закричала она, и ужас исказил ее благородные, прекрасные черты.

Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела все: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний... Поза моя – было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины – крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй...

Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» – сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви Св. Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с *ней*. *Она* венчалась со мной. Бедные нас благословляли! *Она* упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодой женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын... и сам я от радости повесился... Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст – святой возраст. Ничего этого никогда не было... Спокойной ночи!

## Перед свадьбой

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамы жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»<sup>3</sup> и «Salvete, boni futuri conjuges!»<sup>4</sup> – произнес с шиком; рыжий Ванька Смысломалов, в ожидании вынуженный жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Черт возьми, я любил и люблю ее!» – чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем – ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может, в уразумении буквы «Г» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд».

Господин Назарьев – мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает щедрое, едва на табак хватящее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит – брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей.

Вот каковы девица Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девица Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

– С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в баржевом походить. Голова-то как болит, ужась! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие! Подносит это мне что-то в рюмке... «Выпей», говорит. Думала, что в рюмке вино, – ну, и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве неправда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осадил... Что-о-о-о? И не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь – узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не

---

<sup>3</sup> О времена, о нравы! (лат.)

<sup>4</sup> Да здравствуют будущие добрые супруги! (лат.)



посоветует, добру не научит, а все норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдуру... и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет – не давайте, потому что он жулик, хоть он и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет, изверг рода христианского, горой его положь! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девушка Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посылал свою подушку персидским порошком.

– Дочь моя! – сказал ей папаша. – Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак это такой торжественный факт, что... ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я... я... плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право, не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей! Ты это понять должна! Господин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя! Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично-вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но... шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя... Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Не то! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то... Кто-то подъехал... Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала:

– Прошу садиться без церемоний!

Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты.

– Как вы поживаете? – начал он с обычной развязностью. – Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал да о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-я-яй! Да это преступление! Мне один чиновник дал. Шикарно пишет! Я вам прочитать дам. Ах! Когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали! Позвольте вас чмокнуть!

Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девушки Подзатылкиной.

– А где ваши? – продолжал он еще развязнее. – Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте... Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, что оне всего только титулярный. Гм!..

Разве так можно? Потом-с... Оне обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы кровавый народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать! Все делай, но самолюбия и самозабвения моих не трогай! Это не гуманно! Это не рационально! Я честный человек, а потому не люблю нечестных! У меня все можно, но не хитри, не язви, а делай так, как совесть у человека! Так-то! У них и лица какие-то невежественные! Что это за лица? Это не лица! Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальства и варварства не люблю! Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним! Мои родители у меня давно уж ни гу-гу. Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл.

Невеста вышла.

Это перед свадьбой... А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам.

## Жены артистов (Перевод... с португальского)

Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный... только самому себе и подающий великие надежды... тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедши в 147 номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взорам его представилась умильная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней и, после некоторого размышления, дернул ее за руку. Она не просыпалась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Он похлопал ее по плечу, постучал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она... даже и не пошевелинулась.

«Вот спит-то! – подумал Зинзага. – Что за черт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее...»

И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно сползла какая-то книга и, шелестя, шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, – роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырех двадцатиженцев», роман, как видите, из русской, значит, самой интересной жизни – и вдруг...

– Она уснула, читая мой роман!?! – прошептал Зинзага. – Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Алимонда и к трудам Альфонсо Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги!

– Женщина! – гаркнул Зинзага во все свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.

Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыбнулась.

– Это ты, Альфонсо? – сказала она, протягивая руки.

– Да, это я!.. Ты спишь? Ты... спишь?.. – забормотал Альфонсо, садясь на дрябло-хилый стул. – Что ты делала перед тем, как уснула?

– Ходила к матери просить денег.

– А потом?

– Читала твой роман.

– И уснула? Говори! И уснула?

– И уснула... Ну, чего сердиться, Альфонсо?

– Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому что читала мой роман! Я так понимаю этот сон!

– Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением... Я приковалась к твоему роману. Я... я... Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель, Альфонсо Зинзага, застреливается из пистолета...

– Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»!

– Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да... Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из ее окна в реку... реку... Волгу.

– Ааааа... Гм!

– И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну... Я была поражена...

– Почему же ты уснула, если была поражена?

– Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон...

– Аааа... Гм... Понимаю! Дай мне есть!

– А разве ты еще не обедал?

– Нет.

– Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских губернских ведомостей»?

– Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в этих «Ведомостях», чтобы черт их взял!

– Неужели же не помещено?

– Нет...

– Это несчастье! С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов! И ты голоден?

– Голоден.

– Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет?

– Гм... Что за вопрос?! Ничего нет поесть?

– Нет, мой друг! Мать меня только покормила, а денег мне не дала.

– Гм...

Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал... Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть мало-душие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден, и т. д., и, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним, в 148 номере «Ядовитого лебедя», обитает художник-жанрист, итальянец, Франческо Бутронца, человек талантливый, кое-кому известный и, что так немало важно под луной, обладающий умением, которого никогда не знал за собой Зинзага, – ежедневно обедать.

– Пойду к нему! – решил Зинзага и отправился к соседу.

Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо Бутронца... Франческо Бутронца, в шляпе *a la Vandic* и в костюме Петра Амьенского, стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом.

– Варвары! – гремел Бутронца. – Вы не любите, а душите искусство, чтобы черт вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь?! И я мог, глупец, свободного, как ветер, человека, орла, серну, одним словом, артиста, привязать к этому куску льда, сотканному из предрассудков и мелочей... Diabolo!!!<sup>5</sup> Ты – лед! Ты – деревянная, каменная говядина! Ты... ты дура! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой – артист, а не торгаш! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли... Посмотрите на эту женщину!

---

<sup>5</sup> Дьявол! (исп.)

И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала.

– Полноте! – начал Зинзага. – Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала вам донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? Вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине! Вспомните!

– Я возмущен! – закричал Бутронца. – Вы войдите в мое положение! Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную картину... Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну... Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в мое положение! Могу ли я писать без натуры?

– Я не могу! – зарыдала Каролина. – Ведь это неприлично!

– Видите? Видите? Это – оправдание, черт возьми?

– Я не могу! Честное слово, не могу! Велит мне раздеться да еще стать у окошка...

– Мне так нужно! Я хочу изобразить Сусанну при лунном свете! Лунный свет падает ей на грудь... Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину... Игра цветов! Я не могу иначе!

– Ради искусства, донна, – сказал Зинзага, – вы должны забыть не только стыдливость, но и все... чувства!..

– Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же я стать у окна напоказ!

– Напоказ... Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее... Точка зрения искусства и разума, донна... такова, что...

И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, – что-то весьма приличное, но крайне непонятное.

Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели.

– Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах конопляного масла, стою по целым дням на натуре, все делаю, но... голый? голый? – не могу!!!

– Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия! – крикнул Бутронца.

– Куда же мне деваться? – ахнула Каролина. – Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разводишься!

– Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трихины! – крикнул Бутронца, незаметно для самого себя толкая локтем в грудь Зинзагу. – Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства! Вввв... Ррр... Дьябло!

Каролина зарыдала, ухватила за голову и опустилась на стул.

– Что ты делаешь? – заорал Бутронца. – Ты села на мою палитру!!

Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведенными красками... О, боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника.

У дверей 147 номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица ИЗ номера, жена будущего артиста королевских театров, Петра Петрученца-Петрурио.

– Что с вами? – спросил ее Зинзага.

– Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Петр ушибся!

– Как ушибся?

– Учился падать и ударился виском о сундук.

– Несчастный!



– Он умирает! Что мне делать?

– К доктору, донна!

– Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину и к тому же... он всем докторам должен.

– В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовой примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах.

– А сколько стоит эта примочка?

– Дешево, очень дешево, донна.

– Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Алимонда... Не знаю, хватит ли?.. Вы... вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?

– Свинцовую, донна.

– Мы вам скоро отдадим.

– Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп бумаги.

– Прощайте!

– Будьте здоровы! – сказал Зинзага и поклонился.

Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел перед собою жилицу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай.

– Что вам угодно? – спросил он ее.

– Дон Зинзага, – сказала супруга певца и музыканта, ломая руки, – будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы друг его... Может быть, вам удастся остановить его. С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает! Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседей даже стыдно за него... Верите ли? И соседские дети не спят по его милости. Пойдемте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь.

– К вашим услугам, донна!

Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающей половину, и колыбелью, занимающей четверть номера, стоял пюпитр. На пюпитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пюпитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу... В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писканием аккомпанировал своему расхажившему папаше.

– Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? – спросил Лая вошедший Зинзага.

Лай не слышал.

– Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? – повторил Зинзага.

– Уберите его отсюда! – пропел Лай и указал подбородком на колыбель.

– Что это вы разучиваете? – спросил Зинзага, стараясь перекрыть Лая. – Что вы разучиваете?

Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу.

– Вам что угодно? – спросил он.

– Мне? Гм... Я... то есть... не пора ли вам отдохнуть?

– А вам какое дело?

– Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете?

– Кантату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем, вам какое дело?

– Но уже ночь... Пора, некоторым образом, спать...

– Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего света, не должен спать.

– Но, мой друг, – вмешалась жена, – мне и ребенку нашему хочется спать! Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате!

– Коли захочешь, так заснешь!

Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел.

Зинзага заткнул уши и как сумасшедший выскочил из 101 номера. Пришедши в свой номер, он увидел умилительную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слезы.

– Амаранта! – крикнул он, хватая жену за руку. – Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?

– Нет, я плачу не над твоим героем...

– Чего же? – спросил разочарованный Зинзага.

– Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердра-бантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта-Алимонда, и... не перенесла горя мужа... Отравилась спичками!

– Несчастная... статуя! О, жены, чтобы черт вас взял, вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Черт возьми, тема для романа!!! Впрочем, мелка!.. Все смертно на этом свете, мой друг... Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, твоя подруга, все одно, должна была умереть... Утри свои слезы и лучше, чем плакать, выслушай меня...

– Тема для нового романа? – спросила тихо Амаранта.

– Да...

– Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то...

– Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым... к сожалению, любимым, Виктором Гюго.

– Да?

– Да... Выслушай же меня!

Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал:

– Место действия весь свет... Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и т. д. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастье с героиней в Нью-Йорке. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня – агент Франции. В газетах намеки... Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь? Далее...

Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами... говорил долго, долго... ужасно долго!

Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари и взошло солнце, а он все говорил. Пробило шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утреннему чаю, а он все говорил.

– Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая более скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую Душу...

Так кончил Зинзага, когда пробило семь часов.

– Ну? – спросил он Амаранту. – Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А?

– Нет, сценка мила!

– Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих читателей – женщины, потому мне необходимо знать твое мнение.

– Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала, не помню только, где именно...

– Не может быть!

– Право. С твоим героем я встречалась в одном романе, и, надо тебе сказать, в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть, по меньшей мере, глуп как пробка... Чушь печатают, а тебя мало печатают. Удивительно!

– Не припомнишь ли хотя название этого романа?

– Названия не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе четыре «р» подряд... Глупое имя... Карррро!

– Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»?

– Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом самом... Твой герой очень похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо?

Альфонсо вскочил.

– «Сомнамбула среди океана» – мой роман!!! – крикнул он. Амаранта покраснела.

– Значит, это мой роман глупейший, мой? – крикнул он так громко, что даже у Амаранты заболело горло. – Ах ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите! Прощайте! Гм... бррр... идиотка! Мой роман глупейший?! Граф Барабанта-Алимонда знал, что издавал!

Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобучил на глаза шляпу, хлопнул дверь и вышел из 147 номера.

Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147 номер, как бы сильно ни был сердит. Оставить навсегда 147 номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно, и писать и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах, под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлениями, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетах под именем смеси. В этой смеси, под рассказом о том, как американец перехитрил американца и как известная певица мисс Дубадолла Свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок, Анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ:

«Вниманию португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист, влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae<sup>6</sup> прописал argentum nitricum<sup>7</sup>, – влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американ-

---

<sup>6</sup> Дистиллированная вода (лат.).

<sup>7</sup> Ляпис (лат.).

кой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый месяц<sup>8</sup> тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев<sup>9</sup>. Нет сомнения, что Таннер, будучи человеком ученым, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. «Я перевоспитаю ее!» – задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы m-me Таннер приготавливала к обеду уже не четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи.

А именно, в одни сутки поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ:

- 1 gr. солей
- 5 gr. белковых веществ
- 2 gr. жира
- 7 gr. воды (дистиллированной)
- <sup>1</sup> /<sub>23</sub> gr. венгерского вина.
- Итого 15<sup>1</sup>/<sub>23</sub> гран.

Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количество потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. D-r Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые эксперты, осмотрели со всех сторон m-me Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. D-r Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком и... с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто вы бываете причиною несчастий великих людей! Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд!! Мы кончили. Завтрашний номер, по случаю дня рождения редактора, не выйдет. Португальцы!

Кто из вас не внес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!»

– Бедная m-me Таннер! – прошептала Амаранта, пробежав этот рассказец. – Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!

Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не m-me Таннер, разделась и легла спать.

Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице Альфонсо Зинзаги.

– Я хочу есть! – сказал Зинзага. – Оденся, моя дорогая, и ступай к своей madre за деньгами. А propos<sup>10</sup>: я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского

<sup>8</sup> Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. – *Примеч. переводчика.*

<sup>9</sup> Невероятно! – *Примеч. переводчика.*

<sup>10</sup> Кстати (*франц.*).

писателя Державина, который приехал вместе с Аермантофф, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же имя: «Сомнамбула среди океана». Иди, мой друг!

И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого, трогающего за душу и тело, случая потребует у нее некоторой жертвы.

– Жертва, мой друг, будет невелика! – сказал он. – Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, так мимоходом, изложить на бумаге и свое мнение относительно всех моих произведений... Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины...

Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина».

– Согласна?

– Да, – сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь...

– Удивительный народ эти женщины! – воскликнул Зинзага. – Прав был я, когда назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого! Малейшая радость способна повалить ее на пол! О, женские нервы!

И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб...

Такие-то дела, читательницы!

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протезе графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше!

## Петров день

Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило – урааа, господа охотники!! – 29 июня... Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, – день, в который г. уряднику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей...

Побледнели и затуманились звезды... Кое-где послышались голоса... Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил к обедне... Послышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье... В терновнике запела иволга... Над людской кухней засуетились скворцы и удоны... Начался даровой утренний концерт...

К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтем-перанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням... Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок называли «стервозами», послышалось имя сатаны и аггелов<sup>11</sup> его... В пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кулками с провизией, ружейными чехлами.

– Готово-с! – пробасил Аввакум.

– Пожалуйте! Готово! – крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва – плебей, но гг. помещики, из уважения к его преклонным летам (он родился в конце прошлого столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривенный, не брезгают его плебейством и берут с собой на охоту.

– Пожалуйте, ваше превосходительство! – обратился Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на шее. – Подвиньтесь, доктор!

Отставной генерал крикнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча, Музыкант.

– М-м-м... того, братец... Ваня! – обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. – Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда! Н-да... Вот здесь. Не шали, мой друг! Лошадь может испугаться!

Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул Больву от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в Ваниной гимназии, г. Манже.

Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса.

– Готово! – крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около, поместились остальные восемь человек и три собаки.

– Готово! – крикнули гости.

– Ну? Итак, значит, трогать, ваше превосходительство? Господи благослови, – трогай, Аввакумка!

---

<sup>11</sup> Ангелов.



Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачнулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покати к воротам. Охотники улыбнулись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но... злая судьба!.. не успели они выехать со двора, как случился скандал...

– Стой! Подожди! Стой!!! – раздался сзади троек пронзительный тенор.

Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михай Егорыч... Он отчаянно махал руками. Тройки остановились.

– Что тебе? – спросил Егор Егорыч.

Михей Егорыч подбежал к тарантасу, стал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели.

– Что такое? – спросил покрасневший Егор Егорыч.

– То такое, – закричал Михай Егорыч, – что ты Иуда, скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца этакого? Позвольте, господа... Я ничего... Я его только поучить хочу! Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец! Позвольте, ваше превосходительство... Я его только раз... смажу... Позвольте!

– Чего вы лезете? – крикнул генерал, растопыривая руки. – Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком... позволяете...

– Напрасно ты бранишься, Михай, – сказал Егор Егорыч. – Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами... Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять!

– Не умею? Не умею я стрелять? – закричал Михай Егорыч так громко, что даже Вольва заткнул уши. – Но, в таком случае, за каким чертом доктор едет! Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет?

– Он прав, господа, – сказал доктор. – Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать... Я терпеть не могу стрельбы... Я не знаю, зачем вы берете меня с собой... За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь!.. Есть место, Михай Егорыч!

– Слышишь, слышишь? Зачем же ты его берешь?

Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантаса. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз.

– Но... не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит... Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня... Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михай Егорыч! Я спать пойду!

– Вы должны ехать, доктор! – сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. – Вы дали честное слово, что поедете!

– Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать, для чего?

– А для того, – запищал Михай Егорыч, – чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор. Не езжайте, голубчик! Назло не езжайте! Ревнует, ей-богу ревнует!

Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки.

– Эй, вы! – крикнули с другого тарантаса. – Михай Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!

Михей Егорыч ехидно улыбнулся.

– А что, акула? – сказал он. – Чья взяла? Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет от ревности.

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью.

– Негодяй! – сказал он, обращаясь к брату. – Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка покойница! Батюшка скончался во цвете лет чрез твоё безнравственное поведение!

– Господа... – вмешался генерал. – Я полагаю... достаточно. Братья, рродные братья!

– Он родной осел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор! Не езжайте!

– Трогай, чтобы черт побрал вас... А-а-а... Черт знает, что такое! Трогай! – крикнул генерал и ударил кулаком в спину Аввакума. – Тррогай!

Аввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места. Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча.

– Счастье его, что нашлось место! – сказал Михей Егорыч, усаживаясь в тарантасе, – а то бы я его... Опишите-ка этого разбойника, Кардамонов!

Кардамонов послал в прошлом году в «Ниву» статью под заглавием: «Интересный случай многоплодия среди крестьянского народонаселения», прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.

Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский сенокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча, – ехать на перепелов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с Кардамоновым во главе, пошла налево. Большая отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побегал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал.

– Высоко взял, черт возьми! – проворчал он. Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побегал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.

– Нравится мне эта птичка! – сказал он, показывая доктору жаворонка.

– Проваливайте... – сказал тот. – Вообще я просил бы вас не беседовать со мною... Я сегодня не в духе. Отойдите от меня!

– Вы скептик, доктор!

– Я-то? Гм... А что значит скептик?

Манже задумался.

– Скептик значит человеко... человеко... нелюбец, – сказал он.

– Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня! Я могу надеть неприятностей, сам того не желая... Я не в духе...

Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч побледнели и притаили дыхание.

– Я выстрелю! – прошептал генерал. – Я... я... позвольте! Вы во второй раз уж того...

Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил камешком в Музыканта и попал между ушей... Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался шорох и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил, у Манже осеклось... Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился в рожь.

– Полагаю, доктор, что... не время теперь шутить! – обратился генерал к доктору. – Не время-с!

– А?

– Не время теперь шутить.

– Я не шучу.

– Неловко, доктор! – заметил Егор Егорыч.

– Не брали бы... Кто вас просил брать меня? Впрочем... не желаю объясняться... Я не в духе сегодня...

Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал.

– Высоко взял, черт возьми! – проворчал он.

Послышались два подряд выстрела: Вольва уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.

– В крылышко, ваше превосходительство! Жива еще-с!

– Н-да... Жива... Надо предать скорой смерти.

Сказавши это, генерал поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал сбросил с головы фуражку, навел ружье... «Пиль!» Взлетел крупный перепел, но... мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти перед дулом!

– Прочь! – крикнул генерал.

Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала.

– Это низко, молодой человек! – крикнул генерал.

– Что такое? – спросил доктор.

– Вы мешаете! Черт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Черт знает что такое – из рук вон!

– Да вы-то чего кричите? Пфф... не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потише, пожалуйста!

– Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и мешает, – ангел выйдет из терпения!

– Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на Манже! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете!

– Довольно-с! Вам слово – вы десять... Ваничка, дай-ка сюда пороховницу! – обратился генерал к Ване.

– Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? – спросил доктор Егора Егорыча.

– Нельзя, брат! – ответил Егор Егорыч. – Нельзя было не взять. Ведь я ему того... восемь тысяч... Э-хе-хе, братец! Не будь этих проклятых долгов...

Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.

– Правда, что ты ревнуешь?

Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевшего коршуна.

– Ты его потерял, молокосос! – раздался громовый голос генерала. – Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!

Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронташ. Начались поиски за патронташем, и охота была прервана. Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успехом. Нашедши патронташ, охотники сели отдохнуть.

Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михай Егорыч был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранился, бил собак, рассыпал порох, словом – выделял черт знает что... После неудачных выстрелов по перепелам, Кардамонов со своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем суслика.

– Господа, давайте анатомировать суслика! – предложил письмоводитель предводителя дворянства, Некричихвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией.

– Я в этом суслике ничего не нахожу, – сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. – Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить? Перепела – не дичь; то ли дело кулички, бекасы... А? Едем!

Охотники поднялись и лениво направились к тарантасам. Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по своим голубям и убили одного.

– Ваше превосх... Егорыгорч! Ваше... Егорч... – закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. – Ау, ау!

Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа замахала фуражками.

– Зачем? – крикнул Егор Егорыч.

– Дело есть! Дрохву убили! Скорей сюда!

Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и согласно маршруту проехать еще пять верст – к болотам.

– Я ужасно горяч на охоте, – обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. – Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того... извините старику!

– Гм...

– Каким добряком, шельмец, стал! – шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. – Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе...

– А просторней стало! – заметил Ваня.

– Да.

– Отчего бы это? Совсем просторно...

– Господа, а Больва где? – хватился Манже.

Охотники посмотрели друг на друга.

– Где Больва? – повторил Манже.

– Должно быть, на той тройке. Господа, – крикнул Егор Егорыч, – Больва с вами?

– Нет, нету! – крикнул Кардамонов.

Охотники задумались.

– Ну, черт с ним! – порешил генерал. – Не ворочаться же за ним!

– Надо бы, ваше превосходительство, воротиться. Слаб уж очень! Без воды умрет. Не дойдет.

– Захочет, так дойдет.

– Умрет старичок. Ведь ему девяносто!

– Пустяки.

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии... Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст, к казенным лесам.

– Кого же вы там стрелять будете? – спросил доктор.

– Дроздов, орлиц... Ну, тетеревов.

– Так-с. Ну, а что поделявают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч? Эх!

Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повылезли из тарантасов и начали совещаться: кому идти направо и кому налево?

– Знаете что, господа? – предложил Некричихвостов. – В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет... Гм... Дичь от нас не уйдет, господа! Давайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки, икорки... балычка... Вот тут, на травке! Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать: вы доктор. Ведь нужно подкрепиться?

Предложение Некричихвостова было принято. Аввакум и Фире разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык, Некричихвостов раскупорил бутылки, Манже нарезал хлеба... Охотники облизнулись и возлегли.

– Ну-с, ваше превосходительство! По маленькой...

Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру.

– А ведь тут, надо полагать, и волки есть, – глубокомысленно заметил Кардамонов, посматривая искоса на деревья.

Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков, надо полагать, нет.

– Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч, вы чего смотрите?

Выпили по другой.

– Молодой человек! – обратился Егор Егорыч к Ване. – Вы-то чего думаете?

Ваня замотал головой.

– Но при мне можешь, – сказал генерал. – Без меня не пей, но при мне... Выпей немножко!

Ваня налил рюмку и выпил.

– Ну-с? По третьей? Ваше превосходительство...

Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.

– Молодой человек!

Ваня замотал головой.

– Пейте, Амфитеатров! – сказал покровительственным тоном Манже.

– При мне можешь, но без меня... Выпей немного!

Ваня выпил.

– Чего это небо сегодня такое синее? – спросил Кардамонов.

Охотники подумали, потолковали и через четверть часа порешили, что неизвестно, отчего это небо сегодня такое синее.

– Заяц... заяц... заяц!!! Держи!!!

За бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, Музыканта и других собак. Тщетный подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем.

– Крупный!.. Вот его бы того... Как это мы... прозевали?

– Да. Чего же эта бутылка тут того... Это вы не выпили, ваше высокопревосходительство? Э-э-э... Так вот вы как? Хо-ро-шо-с!

Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с остервенением крикнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем взыграла душа. Он стал на колени и декламировал 20 стихов из Овидия.

Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский... Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Манже не согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что...

– По восьмой, господа?

– Не много ли будет?

– Ну-у-у... Что вы! Восемь, и много?! Вы, значит, не пили никогда!

Выпили по восьмой.

– Молодой человек!

Ваня замотал головой.

– Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо стреляете...

– Выпейте, Амфитеатров! – сказал Манже.

– При мне пей, но без меня... Выпей немного!

Ваня отставил в сторону пиво и выпил еще рюмочку.

– По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец... Федор... то есть, Иван... Егор Егорыч! Наливайте!

Выпили по девятой.

– Жарко, однако.

– Да, жарко, но это не помешает нам выпить по десятой!

– Но...

– Плевать на жару! Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример... Пристыдите вашего дядюшку! Не боимся ни хлада, ни жары...

Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и последовали его примеру.

– Солнечный удар может приключиться, – сказал генерал.

– Не может.

– Не может... при нашем климате? Гм...

– Однако бывали же случаи... Мой крестный умер от солнечного удара...

– Вы, доктор, как думаете? Может ли при нашем климате удар приключиться... солнечный, а? Доктор!

Ответа не последовало.

– Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный... Доктор, где же доктор?

– Где доктор? Доктор!

Охотники посмотрели вокруг себя: доктора не было.

– Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха.

– К Егоровой жене отправился! – ляпнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку.

– К жене его отправился! – продолжал Михей Егорыч, кушая балык.

– Чего же вы врете? – спросил Манже. – Вы видели?

– Видел. Ехал мимо мужик на таратайке... ну, а он сел и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.

– Я спрашиваю: куда вы едете? – продолжал Михей Егорыч. – За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Михей Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал. На здоровье... хе-хе-хе.

– Лошадей!! – крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к тарантасу.

– Скорей, а то опоздаешь! – крикнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч втащил на козлы Аввакума, вскочил в тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покатыл домой...

– Что же все это значит, господа? – спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. – Он уехал... На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем тарантасе уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать... Это странно... Гм... Дерзко с его стороны...

С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотное... Нужно было везти Ваню домой. После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией.

Генерал стал прощаться.

– Передайте ему, господа, – сказал он, – что... что так делают одне только свиньи.

– Вы, ваше превосходительство, векселя его протестуйте! – посоветовал Михей Егорыч.

– А? Векселя? Нда-с... Пора уже ему... Нужно честь знать... Я ждал, ждал и наконец утомился ждать... Скажите ему, что протест... Прощайте, господа! Прошу ко мне! А он свинья-с!

Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней.



– Трогай!

Ваня и генерал уехали.

После восемнадцатой охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фире вручил Михею Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозились судебным приставом. После третьей (проснувшись, охотники повели новый счет) генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам.

Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен Музыкантом и Тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды, – доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под жениной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова...

Было уже темно, когда проснулся доктор... Поблуждав немного по лесу и вспомнив, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой пешочком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. Двадцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа и к утру был уже в земской больнице. Побранившись всласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять огромное письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось «объяснение неблагоприятных поступков», бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту, – никогда! даже и двадцать девятого июня.

## Темпераменты (По последним выводам науки)

*Сангвиник.* Все впечатления действуют на него легко и быстро: отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие... В молодости он Бёбё<sup>12</sup> и Spitzbube<sup>13</sup>. Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит; будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов, ложится в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела: только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения риз; напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в «*similia similibus curantur*»<sup>14</sup>. Женится нечаянно. Вечно воюет с тещей. С родней в ссоре. Врет напрапалую. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он – первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника; дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопай, прохвосты и брандахлысты – сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется: всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов, ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения.

Женщина-сангвиник – самая сносная женщина, если она не глупа.

*Холерик.* Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой «черт знает как холодно», а летом «черт знает как жарко...». Ежедневно меняет кухарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено... Большею частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков. Шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель – невозможен; как подчиненный – едва ли мыслим; как начальник – невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог: преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую: всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и, во что бы то ни стало, задушить певца. Умирает от чахотки или болезней печени.

Женщина-холерик – черт в юбке, крокодил.

*Флегматик.* Милый человек (я говорю, разумеется, не про англичанина, а про российский флегматика). Наружность самая обыкновенная, топорная. Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно; не пьет, потому что боится кондрашки, спит 20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетюшек. Самый удобный для женитьбы человек: на все согласен, не ропщет и покладист. Жену величает душенькой. Любит поросеночка с хре-

---

<sup>12</sup> Малыш (франц.).

<sup>13</sup> Плут (нем.).

<sup>14</sup> «Подобное лечится подобным» (лат.).

ном, певчих, все кисленькое и холодок. Фраза «*Vanitas vanitatum et omnia vanitas*»<sup>15</sup> выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, кряхтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает «Ниву» и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалеет, что его детей не секут в гимназии, и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он – контрабас, фагот, тромбон. В театре – кассир, лакей, суфлер и иногда *pour manger*<sup>16</sup> актер. Умирает от паралича или водянки.

Женщина-флегматик – это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукою. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей – ее идеал.

*Меланхолик.* Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие – стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки – жизненный эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валериановые капли ему уже не помогают... Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки – первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подозревает водобоязнь, а с тех пор, как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священной обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то «Московские ведомости», но, чувствуя при чтении этой газеты тяжесть под ложечкой, сердцебиение и мусть в глазах, он бросил ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он – флейта и виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопа, землетрясение, войну, конечное падение нравственности и собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии.

Женщина-меланхолик – невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как жена – доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье.

*Холерико-меланхолик.* Во дни юности был сангвиником. Черная кошка перебежала дорогу, черт ударил по затылку, и сделался он холерико-меланхоликом. Я говорю о известнейшем, бессмертнейшем соседе редакции «Зрителя». Девяносто девять процентов славянофилов – холерико-меланхолики. Непризнанный поэт, непризнанный *pater patriae*<sup>17</sup>, непризнанный Юпитер и Демосфен... и т. д. Рогатый муж. Вообще всякий крикливый, но не сильный.

<sup>15</sup> «Суeta сует и всяческая суeta» (лат.).

<sup>16</sup> Ради хлеба (франц.).

<sup>17</sup> Отец отечества (лат.).

## В вагоне

Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит... Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма... «Что-то будет! что-то будет!» – стучат дрожащие от старости лет вагоны... «Огого-гого-о-о!» – подхватывает локомотив... По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно... Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно... Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства... Боже мой!

– Грешен!! – шепчу я. – Ох, как грешен!..

Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза.

– Что вам угодно? – спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.

– Ничего-с! Я в окно смотрю-с! – отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину.

Слышен сиплый пронзительный свист... Поезд начинает идти все тише и тише и наконец останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада.

– Гм... Водка, а не горько! – говорит солидный обер-кондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может: поперек горла остановился у него годовалый бутерброд.

– Жиндаррр!!! Жиндаррр!! – кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры... Иду посмотреть, в чем дело... У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время когда он спал, стащили сапоги и чулки...

– В чем же я поеду теперь? – кричит он. – Мне до Ррревеля ехать! Вы должны смотреть!

Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что «здесь кричать не приходится»... Иду в свой вагон № 224. В моем вагоне все то же: тьма, храп, табачный и сивушный запахи, пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани... В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая... Крестьянин, в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги... Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание... Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах...

– Сядем сюда, мать моя! – говорит одна. – Темень-то какая! Искушение да и только... Никак наступила на кого... А где Пахом?

– Пахом? Ах, батюшты! Где ж это он? Ах, батюшты!

Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу.

– Пахо-ом! – дребезжит она. – Где ты? Пахом! Мы тутотко!

– У меня беда-а! – кричит голос за окном. – В машину не пускают!

– Не пускают? Который это не пускает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!

– Билеты уже не продают! Касс заперли!

По платформе кто-то ведет лошадь. Топот и фыркание.

– Сдай назад! – кричит жандарм. – Куда лезешь? Чего скандалишь?

– Петровна! – стонет Пахом.

Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.

– Вы бы взяли билет! – обращается он к старцу, сидящему против меня. – Контролер здесь!

– Да? Гм... Это нехорошо... Какой?.. Князь?

– Ну... Князя сюда и палками не загонишь...

– Так кто же? С бородой?

– Да, с бородой...

– Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек.

– Как хотите.

– А много зайцев едет?

– Душ сорок будет.

– Ннно? Молллодцы! Ай да коммерсанты!

Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются гг. пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напечатанному тарифу, 75 % уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и... все что хотите, одним словом!

– Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь!? – бормочет старец. – Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова!

Дребезжит третий звонок.

– Ах, матушки! – хлопочет старушонка. – Где ж это Петровна? Ведь вот уж и третий звонок! Наказание божие... Осталась! Осталась бедная... А вещи ее тут... Што с вещами-то делать, с сумочкой? Родимые мои, ведь она осталась!

Старушонка на минуту задумывается.

– Пушай с вещами остается! – говорит она и бросает сумочку Петровны в окно.

Едем к станции Халдеево, а по путеводителю «Фрум – Общая Могила». Входят контролер и обер-кондуктор со свечой.

– Вашшшш... билеты! – кричит обер-кондуктор.

– Ваш билет! – обращается контролер ко мне и к старцу.

Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.

– Получите! – говорит контролер своему спутнику и отходит. Мы спасены.

– Ваш билет! Ты! Ваш билет! – толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик.

– Куда же ты едешь? – говорит контролер, вертя между пальцами билет. – Ты не туда едешь!

– Ты, дуб, не туда едешь! – говорит обер-кондуктор. – Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть никогда дураком!

Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.

– Ты не плачь! – советует публика. – Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь.

– Вашшшш... билет!.. – обращается обер-кондуктор к косарю в цилиндре.

– Га?

– Вашшшш... билеты! Поворачивайся!

– Билет? Нешто нужно?

– Билет!!!

– Понимаем... Отчего не дать, коли нужно? Даадим! – Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиною вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.

– Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет!

– Другого у меня билета нету! – говорит косарь, видимо встревоженный.

– Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?

– Да я заплатил.

– Кому ты заплатил? Что врешь?

– Кондуктырю.

– Какому?

– А шут его знает какому! Кондуктырю, вот и все... Не бери, говорил, билета, мы тебя и так провезем... Ну, я и не взял...

– А вот мы с тобой на станции поговорим! Мадам, ваш билет!

Дверь скрипит, открывается, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна.

– Насилу, мать моя, нашла свой вагон... Кто их разберет, все одинаковые... А Пахома так и не впустили, аспиды... Где моя сумочка?

– Гм... Искушение... Я тебе ее в окошко выбросила! Я думала, что ты осталась!

– Куда бросила?

– В окно... Кто ж тебя знал?

– Спасибо... Кто тебя просил? Ну да и ведьма, прости господи! Что теперь делать? Своей не бросила, паскуда... Морду бы свою ты лучше выбросила! Аааа... шток тебе повылазило!

– Нужно будет со следующей станции телеграфировать! – советует смеющаяся публика.

Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою суму и также плачет. Входит кондуктор.

– Чьи веш-ш-ш... чи! – выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны.

– Хорошенькая! – шепчет мне мой vis-a-vis старец, кивая на хорошенькую. – Гм-м-м... хорррошенькая... Черт подери, хлороформу нет! Дал бы ей понюхать, да и целуй во все лопатки! Благо все спят!..

Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги.

– Ученые... – бормочет он. – Ученые... Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь!.. Ученые... гм... Небось, не сделают так, чтоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению!

– Я тут ни при чем... Спросите товарища прокурора! – бредит мой сосед-следователь.

В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж...

Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собою разумеется». От нее разит пудрой и пачулями.

– Ах, что за прелесть эта дорога! – шепчет над ее ухом какой-то гусь, шепчет приторно до... до отвращения, как-то французисто выговаривая буквы *г*, *н* и *р*. – Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как в дороге! Люблю тебя, дорога!

Поцелуй... Другой... Черт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и... бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды... а он, дурак, спит!!

Поезд останавливается. Полустанок.

– Поезд стоит две минуты... – бормочет сиплый, надтреснутый бас вне вагона. Проходят две минуты, проходят еще две... Проходит пять, десять, двадцать, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву.

– Иван Матвеич! Скоро ж ты, наконец? Черт! – кричит обер-кондуктор под локомотив.

Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу...

– У тебя есть бог или нет? – обращается он к обер-кондуктору. – Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Ааа... чтоб вам всем повылазило!.. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я везти на нем!



– Что же делать?

– Делай что хочешь! Давай другой, а на этом не поеду! Да ты войди в положение...

Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат... Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из пресеселого еврейского быта... Идет дождь... Направляюсь в вагон... Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе... В его руках чемодан. Чемодан этот мой... Боже мой!

## **Грешник из Толедо** **(Перевод с испанского)**

«Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именуемая себя Марией Спаланцо, или кто доставит ее в заседание судей живой или мертвой, тот получит отпущение грехов».

Это объявление было подписано епископом Барцелона и четырьмя судьями в один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества.

Объявление прочла вся Барселона. Начались поиски. Было задержано шестьдесят женщин, походивших на искомую ведьму, были пытаемы ее родственники... Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барцелона убили всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланцо.

Мария Спаланцо была дочерью одного крупного барцелонского торговца. Отец ее был французом, мать испанкой. От отца получила она в наследство галльскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках, от матери же – чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничегонеделанию и искусствам, она до двадцати лет не пролила ни одной слезы... Она была счастлива, как ребенок... В тот день, когда ей исполнилось ровно двадцать лет, она вышла замуж за известного всей Барцелоне моряка Спаланцо, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви.

Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.

На второй день свадьбы участь ее была решена.

Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барцелона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах.

– Как пройти на улицу св. Марка? – обратилась она к монаху.

Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее... Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне! При луне женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии, благодаря быстрой походке, рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди... Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей...

– Клянусь кровью св. Януария, что ты ведьма! – сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.

– Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян! – сказала она.

– Ты ведьма!!

Монах сквозь зубы пробормотал какое-то заклинание.

– Где собака, которая бежала сейчас впереди меня? Собака эта обратилась в тебя! Я видел!.. Я знаю... Я не прожил еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм! Ты пятьдесят первая! Я – Августин...

Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и скрылся.

Мария знала Августина... Она многое слышала о нем от родителей... Она знала его как ревностнейшего истребителя ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он прокли-

нал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины, и хвалился любовью ко Христу. Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека? Прощедши полверсты, Мария еще раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома.

Через три дня после встречи с Августином к Спаланцо явился человек в черном, с опухшим бритым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцо идти немедленно к епископу.

– Твоя жена ведьма! – объявил епископ Спаланцо.

Спаланцо побледнел.

– Поблагодари бога! – продолжал епископ. – Человек, имеющий от бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась в твою жену...

– Она не ведьма, а... моя жена! – пробормотал ошеломленный Спаланцо.

– Она не может быть женою католика! Она жена сатаны! Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда...

Епископ был очень ученый человек. Слово «femina» производил он от двух слов: «бе» и «minus», на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры...

Спаланцо стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев и схватил себя за голову. Где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма! Вся! Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы все глупы!

– Нет народа глупее испанцев! – сказал когда-то Спаланцо его умирающий отец, лекарь. – Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они!

Спаланцо верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость...

– Тебя хотят монахи сжечь, Мария! – сказал он жене, пришедши домой от епископа. – Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя туда... Послушай, жена! Если ты на самом деле ведьма, то бог с тобой! – обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь; если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам... Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма!

Мария в черную кошку не обратилась и не убежала... Она только заплакала и стала молиться богу.

– Послушай! – сказал Спаланцо плачущей жене. – Мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время... Очень просто! В гавани починается корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец. Время это, по его словам, настанет скоро...

Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланцо.

– Где твоя жена? – спросил Спаланцо епископ.

– Она обратилась в черную кошку и убежала от меня, – соврал Спаланцо.

– Я ожидал, предвидел это! Но ничего. Мы найдем ее... Великий дар у Августина! О, чудный дар! Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах! Были примеры, что нечистые духи переселялись из жен в мужей... В прошлом году я сжег одного благочестивого католика,

который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане... Ступай!

Мария долго просидела в корабле. Спаланцо посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланцо, но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны целые столетия... Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воронами... Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья.

Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки Спаланцо. Спаланцо прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления.

– Хорошо бы получить отпущение грехов! – вздохнул Спаланцо.

Спаланцо считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланцо жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магов и волшебников... В XII и XIII столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг... Спаланцо под руководством отца тоже занимался магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы... Однажды он толлок что-то в железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла сплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, Спаланцо почувствовал вскоре страшные угрызения совести. Один старый, очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущения грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланцо готов был отдать все, лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном толедском житье и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции... Он отправился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела.

«Не будь я ее мужем, я выдал бы ее...» – подумал он, прочитав объявление епископа.

Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью... Он любил свою жену, сильно любил... Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй, можно было бы... Он показал объявление брату Христофору...

– Я выдал бы ее, – сказал брат, – если бы она была ведьма и не была бы такой красивой... Отпущение вещь хорошая... Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую...

Пусть сожгут мертвую... Мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старости-то нам и понадобится отпущение...

Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу.

– Я могу умереть раньше ее, – заметил Спаланцо. – Но, клянусь богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем!

Через неделю после этой беседы Спаланцо ходил по палубе корабля и бормотал:

– О, если бы она была мертвой! Живую я ее не выдам, нет! Но я выдал бы ее мертвой! Я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение!

И глупый Спаланцо отравил свою бедную жену...

Труп Марии был отнесен Спаланцо в заседание судей и предан сожжению.

Спаланцо получил отпущение толедских грехов... Его простили за то, что он учился лечить людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ

похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения... В этой книге ученый епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет бесов.

## Исповедь, или Оля, Женя, Зоя (Письмо)

Вы, *ma chere*<sup>18</sup>, мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз 15 и не женился потому, что все на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависит от него! Случай – деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор влачу свою жизнь в презренном одиночестве...

### Случай первый

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам... Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное... Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце... Щечки ее горели, а глаза... О, *ma chere*, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки...

– Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке, – шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца. – В будущем ожидает меня профессорская кафедра... На моей совести вопросы... научные... Жизнь трудовая, полная забот, высоких... как их... Ну, одним словом, я буду профессором... Я честен, Ольга Максимовна... Я не богат, но... Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчик задрожал)... которая бы своим присутствием... Оля! взгляните на небо! Оно чисто... но и жизнь моя так же чиста, беспредельна...

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки... О, что это были за ручки, *ma chere*!

– Тер... тер... тер... – заговорили гуси, поднимая шеи и искоса поглядывая на Олю.

– Гуся, гуся, гуся! – закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильнее и побледнела. Ее красивое девичье личико искажилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платя. Оля с большими глазами, с искаженным лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь...

– Какая вы трусиха! – сказал я.

– Побейте гуску! – сказала она и заплакала...

---

<sup>18</sup> Моя милая (франц.).



Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, та chere, малодушная! Не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил все дело... Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове... Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от нее.

## Случай другой

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не браться за перо. Я жрец Аполлона... Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче – всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу... Отнимите у меня перо – и я помер. Вы смеетесь, не верите... Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, та chere, что земной шар – плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель – это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, незащищенное дитя... Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!!

Слушайте...

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя... Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивановичем Ванце (а rporos<sup>19</sup>: по-немецки Ванце значит... клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день... погибли.

Я жил на даче у Пешковых. Меня считали женихом, Женю – невестой. Я писал, она читала. Что это за критик, та chere! Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон. Произведения свои посвящал я ей... Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа ожидал через две недели. Наступило 15 июля. Мы с Женей получили желанный номер. Поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б-у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

Ну, и глупо... Сейчас видно, что дураки писали.

– Ммммм... – промычала Женя.

– Ка-кие мерр-зав-цы!!! – пробормотал я. – Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

– Что ж? – сказала она. – Может быть, у вас и на самом так деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы все пишете, пишете... Как это скучно!

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писаньем и питаньем! После обоюдного жертвоприношения музам... А?

---

<sup>19</sup> Кстати (франц.).

Женя охладела к моему писательству, а следовательно, и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло...

### Случай третий

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия... Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно – имена не людей, а гигантов! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов... дивные люди! Как я жалею, что я не знаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой... Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова – Зоя. Что это за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна... Я любил ее... Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, та chere... Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя... Любовь писателя – Этна плюс Везувий. Зоя любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза... Мы были счастливы. До свадьбы был один только шаг...

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно, а Гуно – величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объяснитьсь с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечернем освещении, та chere, она прекрасна, ужасно прекрасна!

– Увертюра, – объяснялся я в любви, – навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна... Столько чувства, столько... Слушаешь и жаждешь... Жаждешь чего-то такого и слушаешь...

Я икнул и продолжал:

– Чего-то такого особенного... Жаждешь неземного... Любви? Страсти? Да, должно быть... любви... (Я икнул.) Да, любви...

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

– Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

– Я... я... вас не понимаю...

– На меня напала икота. Пройдет... Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое... Черт знает что!

– Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», – подумал я и продолжал:

– Я скажу коротко, Зоя Егоровна... Вы, конечно, уж заметили...

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

– Конечно, заметили... (Я икнул.) Вы меня знаете около года... Гм... Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но...

Я икнул и вскочил.

– Вы выпейте воды! – посоветовала Зоя.

Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцами горло и опять икнул. Ма chere, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же... икнул. Прошло минут пять – я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, ма chere, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся... С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кошунство! Нет, ма chere, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще раз икнул... В соседних ложах засмеялись.

– Bis! – прошипел гимназист.

– Черт знает что! – пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо. – Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу – и все икаю. Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать... Я ударил себя по затылку и воскликнул:

– Теперь можешь икать, освистанный жених! Нет, ты не освистанный! Ты не освистал себя, а... обыхал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе... Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов.

Стимул, ма chere, значит двигатель.

– Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, – обратился ко мне Пепсинов после обеда, – за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

– Отдал бы... – пробормотал я.

– Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты. Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?

Описал бы, но... довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень... Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое! Позвольте, ма chere, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец... Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, ма chere!). Будьте здоровы, ма chere, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

*Макар Балдастов.*

## Летающие острова

### Соч. Жюль Верн Перевод М. Чехонте

#### Глава I

##### Речь

– ...Я кончил, джентльмены! – сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн...

– Джентльмены! – проговорил тронутый мистер Лунд. – Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, – обратился он к своему старому слуге, – разбудите меня через пять минут. *Я буду* спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!

– Слушаю, сэр! – сказал старый Том Бекас.

Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.

Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал все. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! «*Просверление Луны колоссальным буравом*» — вот что служило предметом речи мистера Лунда!

#### Глава II

##### Таинственный незнакомец

Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48 ½ вершков роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея. Он был совершенно лыс. Одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.

– Идите за мной! – гробовым голосом произнес лысый джентльмен.

– Куда?

– Идите за мной, Джон Лунд!

– А если я не пойду?

– Тогда я буду принужден просверлить Луну раньше вас!

– В таком случае, сэр, я к вашим услугам.

– Ваш слуга последует за нами!

Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.

– Сэр, – обратился Бекас к мистеру Лунду, – если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!

Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.

– С кем я имею честь смеяться, сэр? – спросил Лунд лысого джентльмена.

– Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгемптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории, Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр, в...

Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы...

– Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас... Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас... Вы ничего не имеете против этого?

– Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и...

– Я вам куплю новые сапоги.

– Благодарю вас, сэр.

Кто из читателей восплает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение *«Существовала ли Луна до потоп?»* При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: *«Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время»*. В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.

Между прочим там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.

### Глава III

#### Таинственные пятна

Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса (*следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить*)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на Луну.

– Что вы там видите, сэр?

– Луну, сэр.

- А возле Луны что вы видите, мистер Лунд?
- Я имею честь видеть одну только Луну.
- А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле Луны?
- Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?
- Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы следуете за мной!
- Ура! Да здравствуют пятна! – крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

## Глава IV

### Скандал на небе

Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода<sup>20</sup>. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь под 13-е марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW (*следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов*)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр<sup>21</sup> показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал —76.

– Как ваше здоровье, сэр? – прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.

– Благодарю вас, сэр! – отвечал тронутый Лунд. – Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?

– Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятиях.

– Ха, ха, ха, сэр Болваниус!

– Благодарю вас, сэр!

Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск... Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.

Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!

Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.

– Где мы, сэр?

– В эфире.

– Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?

– А где сила вашей воли, сэр Лунд?

---

<sup>20</sup> Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно. – *Примеч. переводчика.*

<sup>21</sup> Такой инструмент есть. – *Примеч. переводчика.*

– Мистеры! – крикнул Бекас. – Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх!

– Гм... Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения Земли... Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как ваше здоровье?

– Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху Землю, сэр!

– Это не Земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!

Тррррах!!!!

## Глава V

### Остров князя Мещерского

Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.

– Где мы? – спросил Лунд.

– Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!

– Ураа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!

Над островом летало еще несколько островов (*следует описание картины, понятной одним только англичанам*)... Пошли осматривать остров. Он был шириной... длиной... (*цифры и цифры... Бог с ними!*) Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы...

– Сэр, посмотрите, что это такое? – обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.

– Странно... Удивительно... Поразительно... – забормотал Болваниус.

Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном из варварских языков, кажется, русском.

Как попали сюда эти сочинения?

– Пррроклятие! – закричал мистер Болваниус. – Здесь были раньше нас?!? Кто мог быть здесь?!. Скажите – кто, кто? Прро-клятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!

И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

## Глава VI

### Возвращение

– Урааа!! – кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив... Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (*pesamment*) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям... На середине залива барахтались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.

– Мы пятьдесят семь дней не ели! – пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.

Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут Землей и утонул в Гаврском заливе...

## **Заключение**

Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении Луны. Близко уже то время, когда Луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.



## Сказки Мельпомены

### Он и она

Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы, для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида, Петербурга и Других столиц они скупы. В Париже чувствуют они себя quasi-дома<sup>22</sup>; для них Париж – столица, резиденция, остальная же Европа – скучная, бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные шторы grand-hotel'en или с авансцены. Они не стары, но успели уже побывать по два, по три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку и будут поговаривать до тех пор, пока их не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям.

Увидеть их трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах, ездят, когда темно, вечером и ночью. До обеда они спят. Просыпаются же обыкновенно в плохом расположении духа и никого не принимают. Принимают они только иногда, в неопределенное время, за кулисами или садясь за ужин.

Ее можно видеть на карточках, которые продаются. Но на карточках она – красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте: она урод. Большинство видит ее, глядя на сцену. Но на сцене она неузнаваема. Белила, румяна, тушь и чужие волосы покрывают ее лицо, как маска. На концертах то же самое.

Играя Маргариту, она, двадцатисемилетняя, морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым веснушками, выглядит стройной, хорошенькой, семнадцатилетней девочкой. На сцене она менее всего напоминает самое себя.

Коли хотите их видеть, приобретите право присутствовать на обедах, которые даются ей и которые иногда она сама дает перед отъездом из одной столицы в другую. Приобрести это право легко только на первый взгляд, добраться же до обеденного стола могут только люди избранные... К последним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры, любители и ценители с зализанными лысынями, попавшие в театральные завсегдатаи и блюдолизы благодаря злату, серебру и родству. Обеды эти выходят не скучные, для человека наблюдающего интересные... Раз два стоит пообедать.

Известные (между обедающими много таких) едят и говорят. Поза их вольная: шея на один бок, голова на другой, один локоть – на столе. Старички даже ковыряют в зубах.

Газетчики занимают стулья, ближайшие к ее стулу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко острят, пьют, перебивают друг друга (причем не забывают сказать: «pardon!»), произносят трескучие тосты и, видимо, не боятся сглотить; некоторые, джентльменски переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку.

Выдающие себя за рецензентов менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо.

Она, царица обеда, одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядывает на шее из-под кружевной оборочки. На обеих руках – по массивному гладкому браслету. Прическа в высшей степени неопределенная: дамам – нравится, мужчинам – не нравится. Лицо

---

<sup>22</sup> Как бы дома (лат.).

ее сияет и льет на всю обедающую братию широчайшую улыбку. Она умеет улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми, мило кивать головой; кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки; сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливого получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски, в конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо до смешного, но и эта плохость выходит у нее милой. Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она – урод.

А он? Он, *le marl d'elle*<sup>23</sup>, сидит от нее за пять стульев, много пьет, много ест, много молчит, катает из хлеба шарики и перечитывает ярлыки на бутылках. Глядя на его фигуру, чувствуется, что ему нечего делать, скучно, лень, надоело...

Он белокур, с плешью, которая дорожками пробегает по его голове. Женщины, вино, бессонные ночи и таскание по белу свету бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет тридцать пять, не больше, но он старше на вид. Лицо как бы вымоченное в квасу. Глаза хорошие, но ленивые... Он когда-то не был уродом, но теперь урод. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его дразнят в Европе почему-то «коляской». В своем фраке напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедающие его не замечают. Он платит тем же.

Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей.

Глядя на них, вы ответите (разумеется, приблизительно) так:

– Она – известная певица, он – только муж известной певицы, или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены. Она зарабатывает до восьмидесяти тысяч в год на русские деньги, он ничего не делает, стало быть, у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир и человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами, договорами... Она знает с одной только аплодирующей публикой, до кассы же, до прозаической стороны своей деятельности она не снисходит, ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, нужен как прихвостень, слуга... Она прогнала бы его, если бы умела управляться сама. Он же, получая от нее солидное жалованье (она не знает цены деньгам!), как дважды два – четыре, обкрадывает ее заодно с горничными, сорит ее деньгами, кутит напропалую, быть может, даже прячет про черный день – и доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко. Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег.

Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что, не имея возможности проникнуть в глубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пигмея, покрытого лягушечьею слизью; а между тем эта европейская дива связана с этим лягушонком завиднейшей, благороднейшей связью.

Вот что пишет он:

«Спрашивают меня, за что я люблю эту мегеру? Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит и ненависти. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания, игнорировали ее существование. Чтобы любить ее, нужно быть или мной, или сумасшедшим, что, впрочем, одно и то же.

Она некрасива. Когда я женился на ней, она была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба; вместо бровей над глазами лежат две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится: ни ума, ни желаний, ни страсти. Нос – картофелью. Рот мал, красив, зато зубы ужасны. У нее нет груди и талии. Последний недостаток скрашивается, впрочем, ее чертовским умением как-то сверхъестественно искусно затяги-

<sup>23</sup> Ее муж (франц.).

ваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзгая. Еп masse<sup>24</sup>, во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наиважнейшим, – это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственность и в этом отношении расхожусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня, а лавочница с угловатыми манерами: ходит – руками машет, сидит, положив ногу на ногу, покачиваясь взад и вперед всем корпусом, лежит, подняв ноги, и т. д.

Она неряшлива. Особенно характерны в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок... Ах, да что говорить? Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьиным голосом. Непричесанная, с перепутавшимися волосами, с заспанными, заплывшими глазами, в сорочке с продранными плечами, босая, косая, окутанная облаком вчерашнего табачного дыма – похожа ли она на соловья?

Она пьет. Пьет она, как гусар, когда угодно и что угодно. Пьет уже давно. Если бы она не пила, она была бы выше Патти и во всяком случае не ниже. Она пропила половину своей карьеры и очень скоро пропьет другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, и она теперь не ложится спать, не выпив на сон грядущий двух-трех бутылок. Если бы она не пила, у нее не было бы катара желудка.

Она невежлива, чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты.

Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорога эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке, не любит, чтобы о ней говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее купленный Иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства!

Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность; они покрылись жиром и спят.

Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги – ерунда, что вся суть не в них, сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов.

Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто не доплачивает модисткам и парикмахерам. У нее нет сердца.

Тысячу раз испорченная женщина!

Но поглядите вы на эту мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке! Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью... Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда она, моя жена, начинает петь, когда по воздуху пробегают первые трели, когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа, тогда поглядите на мое лицо и вам откроется тайна моей любви.

– Не правда ли, она прекрасна? – спрашиваю я тогда своих соседей.

---

<sup>24</sup> Вообще (франц).

Они говорят «да», но мне мало этого. Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина не моя жена. Я все забываю, что было раньше, и живу только одним настоящим.

Посмотрите, какая она актриса! Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении! Она понимает все: и любовь, и ненависть, и человеческую душу... Недаром театр дрожит от аплодисментов.

По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможенную, в один вечер пережившую целую жизнь. *Я тоже бледен* и изнурен. Мы садимся в карету и едем в отель. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы послать к черту друг друга и...

Знаете, еще когда я люблю ее? Когда она присутствует на балах или обедах. И здесь я люблю в ней замечательную актрису. Какой, в самом деле, нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так, как она умеет... Я не узнаю ее на этих глупых обедах... Из ошипанной утки она делает павлина...»

Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испещрено орфографическими ошибками.

Вот что пишет она:

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда... За что? Бог знает...

Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь, даром же она им не дается. Судите сами.

Он день и ночь пьян как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он брюзжит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трезв, он лежит на чем попало и молчит.

Он вечно оборван, хотя и не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает, неизвестно куда, сквозь его руки.

Никак не соберусь проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры. Мужья получают за свои труды полкассы.

Тратит он не на женщин, я это знаю. Он презирает женщин.

Он – лентяй. Я не видала, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь. Он пьет, ест, спит – и только.

Он нигде не кончил курса. Его исключили из первого курса университета за дерзости.

Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец.

Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится девяносто девять идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке.

Он курит отвратительный табак.

Но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, т. е. капризничаю, он ходит как убитый и сжимает кулаки.

Он не трус и не боится людей. Это я люблю в людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась петь. Кутила я каждый вечер, насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я, разумеется, в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и не знакомый мне мальчик и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

– Для чего вы пьете?

Мы захохотали. Мой мальчик не смутился.

Второй вопрос был более дерзок и вылетел прямо из души:

– Чего вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей!

Какова дерзость? Компания моя зашумела. Я же посадила мальчика возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. А *propos*<sup>25</sup>: мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы.

За его дерзость я заплатила браком с ним.

Он больше молчит. Чаще всего говорит он одно слово. Это слово говорит он грудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему, когда он сидит среди людей, на обеде, на балу... Когда кто-нибудь (кто бы то ни было) скажет ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит:

– Неправда!

Это его любимое слово. Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово? Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда. Я люблю его иногда, и это «иногда», насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос...»

Это письмо писано по-французски, прекрасным, почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки.

---

<sup>25</sup> Кстати (*франц.*).

## Два скандала

– Стойте, черт вас возьми! Если эти козлы-тенора не перестанут рознить, то я уйду! Глядеть в ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья с правой стороны! Я с вами говорю! Если не умеете петь, то за каким чертом вы лезете на сцену со своим вороньим карканьем? Начинайте сначала!

Так кричал он и трещал по партитуре своей дирижерской палочкой. Этим косматым господам дирижерам многое прощается. Да иначе и нельзя. Ведь если он посылает к черту, бранится и рвет на себе волосы, то этим самым он заступает за святое искусство, с которым никто не смеет шутить. Он стоит настороже, а не будь его, кто бы не пускал в воздух этих отвратительных полутонов, которые то и дело расстраивают и убивают гармонию? Он бережет эту гармонию и за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. На него нельзя сердиться. Заступайся он за себя, ну тогда другое дело!

Большая часть его желчи, горькой, пенящейся, доставалась на долю рыжей девочки, стоявшей третьей с правого фланга. Он готов был проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и выбросить в окно. Она рознила больше всех, и он ненавидел и презирал ее, рыжую, больше всех на свете. Если б она провалилась сквозь землю, умерла тут же на его глазах, если бы запачканный ламповщик зажег ее вместо лампы или побил ее публично, он захохотал бы от счастья.

– А, черт вас возьми! Поймите же, наконец, что вы столько же смыслите в пении и музыке, как я в китоловстве! Я с вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что там не «фа диэз», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотам! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы к черту с вашим неподмазанным смычком!

Она, восемнадцатилетняя девочка, стояла, глядела в ноты и дрожала, как струна, которую сильно дернули пальцем. Ее маленькое лицо то и дело вспыхивало, как зарево. На глазах блестели слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки с черными булавочными головками. Если бы шелковые золотистые волосы, которые водопадом падали на ее плечи и спину, скрыли ее лицо от людей, она была бы счастлива.

Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение к самой себе, страх... Бедная девочка чувствовала себя виноватой, и совесть исцарапала все ее внутренности. Она виновата перед искусством, дирижером, товарищами, оркестром и, наверное, будет виновата и перед публикой... Если ее ошибают, то будут тысячу раз правы. Глаза ее боялись глядеть на людей, но она чувствовала, что на нее глядят все с ненавистью и презрением... В особенности он! Он готов швырнуть ее на край света, подальше от своих музыкальных ушей.

«Боже, прикажи мне петь как следует!» – думала она, и в ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка.

Он не хотел понять этой нотки, а бранился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль!

– Это из рук вон! Эта девчонка готова сегодня зарезать меня своим козлиным голосом! Вы не примадонна, а прачка! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы петь хорошо, не фальшивить... Она и умела не фальшивить, была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они, вместо того чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки, смотрели в волосы и в глаза дирижера... Ее глазам нравились всклокоченные волосы и дирижерские глаза, из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть.

Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной...

Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебегали на его палочку, с палочки на его белый галстух, подбородок, усики и так далее...

– Возьмите у нее ноты! Она больна! – крикнул наконец он. – *Я не продолжаю!*

– Да, я больна, – прошептала покорно она, готовая просить тысячу извинений...

Ее отпустили домой, и ее место в спектакле было занято Другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, добросовестно, не думая о белом галстуке и усиках.

И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом, и ей казалось, что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот дерзкий был ее первой любовью!

И первый блин вышел комом.

На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он.

Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партитуру, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик. По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к черту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрей и порядочней его трудно найти человека.

Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь – большое несчастье для искусства, что все ее товарищи и он сам готовы все отдать для того только, чтобы «*petit rossignol*»<sup>26</sup> был здоров и покоен. О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете! Он с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни.

Славный малый! Но зато, когда она сказалась здоровой и пожаловала на сцену, он опять послал ее к «самому черному» черту, и опять по лицу его забегали молнии.

В сущности он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый куст с деревянными цветами, следила за его движениями. Дух ее захватывало от восторга при виде этого человека. Он стоял за кулисами и, громко хохоча, пил с Мефистофелем и Валентином шампанское. Остроты так и сыпались из его рта, привыкшего посылать к черту. Выпивши три стакана, он отошел от певцов и направился к выходу в оркестр, где уже настраивались скрипки и виолончели. Он прошел мимо нее, улыбаясь, сияя и махая руками. Лицо его горело довольством. Кто осмелится сказать, что он плохой дирижер? Никто! Она покраснела и улыбнулась ему. Он, пьяный, остановился около нее и заговорил:

– Я раскис... – сказал он. – Боже мой! Мне так хорошо сегодня! Ха! ха! Вы сегодня все такие хорошие! У вас чудные волосы! Боже мой, неужели я до сих пор не замечал, что у этого соловья такая чудная грива?

Он нагнулся и поцеловал ее плечо, на котором лежали волосы.

– Я раскис через это проклятое вино... Мой милый соловей, ведь мы не будем больше ошибаться? Будем со вниманием петь? Зачем вы так часто фальшивите? С вами этого не было прежде, золотая головка!

Дирижер совсем раскис и поцеловал ее руку. Она тоже заговорила...

---

<sup>26</sup> Наш маленький соловей (*франц.*).

– Не браните меня... Ведь я... я... Вы меня убиваете своей бранью... Я не перенесу... Клянусь вам!

И слезы навернулись на ее глазах. Она, сама того не замечая, оперлась о его локоть и почти повисла на нем.

– Ведь вы не знаете... Вы такой злой. Клянусь вам...

Он сел на куст и чуть не свалился с него... Чтобы не свалиться, он ухватился за ее талию.

– Звонок, моя крошка. До следующего антракта!

После спектакля она ехала домой не одна. С ней ехал пьяный, хохочущий от счастья, раскисший *он*. Как она счастлива! Боже мой! Она ехала, чувствовала его объятия и не верила своему счастью. Ей казалось, что лжет судьба! Но как бы там ни было, а целую неделю публика читала в афише, что дирижер и его *она* больны... Он не выходил от нее целую неделю, и эта неделя показалась обоим минутой. Девочка отпустила его от себя только тогда, когда уж неловко было скрываться от людей и ничего не делать.

– Нужно проветрить нашу любовь, – сказал дирижер на седьмой день. – Я соскучился без своего оркестра.

На восьмой день он уже махал палочкой и посылал к черту всех, не исключая даже и «рыжей».

Эти женщины любят, как кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своим пугалом, не отказалась от своих глупых привычек. Она по-прежнему, вместо того чтобы глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстук и лицо... На репетициях и во время спектакля она то и дело фальшивила и еще в большей степени, чем прежде. Зато же и бранил он ее! Прежде бранил он ее только на репетициях, теперь же мог это делать и дома, после спектакля, стоя перед ее постелью. Сентиментальная девочка! Достаточно ей было, когда она пела, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на целых четверть такта или вздрогнуть голосом. Когда она пела, она глядела на него со сцены, когда же не пела, она стояла за кулисами и не отрывала глаз от его длинной фигуры. Во время антракта они сходились в уборной, где оба пили шампанское и смеялись над ее поклонниками. Когда оркестр играл увертюру, она стояла на сцене и глядела на него в маленькое отверстие в занавесе. В это отверстие актеры смеются над плешью первого ряда и по количеству видимых голов определяют величину сбора.

Отверстие в занавесе погубило ее счастье. Случился скандал.

В одну масленицу, когда театр бывает наименее пуст, давали «Гугенотов». Когда дирижер перед началом пробирался между пюпитрами к своему месту, она стояла уже у занавеса и с жадностью, с замиранием сердца глядела в отверстие.

Он соорудил кисло-серьезную физиономию и замахал во все стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно... Потом же, когда увертюра близилась к середине, по его правой щеке забегали молнии и правый глаз прищурился. Беспорядок слышался справа: там сфальшивила флейта и не вовремя закашлял фагот. Кашель может помешать начать вовремя. Потом покраснела и задвигалась левая щека. Сколько движения и огня в этом лице! Она глядела на него и чувствовала себя на седьмом небе, наверху блаженства.

– Виолончель к чертям! – пробормотал он сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знает ноты, но не хочет знать души! Можно ли поручать этот нежный и мягкозвучный инструмент людям, не умеющим чувствовать? По всему лицу дирижера забегали судороги, и свободная рука вцепилась в пюпитр, точно пюпитр виноват в том, что толстый виолончелист играет только ради денег, а не потому, что этого хочется его душе!

– Долой со сцены! – послышалось где-то вблизи...

Вдруг лицо дирижера просияло и засветилось счастьем. Губы его улыбнулись. Одно из трудных мест было пройдено первыми скрипками более чем блистательно. Это приятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душе тоже приятно, как будто бы она



играла на первых скрипках или имела дирижерское сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидел в нем дирижер. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась... но не время было улыбаться. Случилось нечто сверхъестественное и ужасно глупое...

Отверстие вдруг исчезло перед ее глазом. Куда оно девалось? Наверху что-то зашумело, точно подул ровный ветер... По ее лицу что-то поползло вверх... Что случилось? Она начала глазом искать отверстие, чтобы увидеть любимое лицо, но вместо отверстия она увидела вдруг целую массу света, высокую и глубокую... В массе света замелькало бесчисленное множество огней и голов, и между этими разнообразными головами она увидела дирижерскую голову... Дирижерская голова посмотрела на нее и замерла от изумления... Потом изумление уступило место невыразимому ужасу и отчаянию... Она, сама того не замечая, сделала полшага к рампе... Из второго яруса послышался смех, и скоро весь театр утонул в нескончаемом смехе и шиканье. Черт возьми! На «Гугенотах» будет петь барыня в перчатках, шляпе и платье самого новейшего времени!..

– Ха-ха-ха!

В первом ряду задвигались смеющиеся плечи... Поднялся шум... А его лицо стало старо и морщинисто, как лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью, проклятиями... Он топнул ногой и бросил под ноги свою дирижерскую палочку, которую он не променяет на фельдмаршальский жезл. Оркестр секунду понес чепуху и умолк... Она отступила назад и, пошатываясь, поглядела в сторону... В стороне были кулисы, из-за которых смотрели на нее бледные, злобные рыла... Эти звериные рыла шипели...

– Вы губите нас! – шипел антрепренер...

Занавес пополз вниз медленно, волнуясь, нерешительно, точно его спускали не туда, куда нужно... Она зашаталась и оперлась о кулису...

– Вы губите меня, развратная, сумасшедшая... о, чтобы черт тебя забрал, отвратительнейшая гадина!

Это говорил голос, который час тому назад, когда она собиралась в театр, шептал ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошка! Ты мой добрый гений! Твой поцелуй стоит магометова рая!» А теперь? Она погибла, честное слово, погибла!

Когда порядок в театре был водворен и взбешенный дирижер принялся во второй раз за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро разделась и прыгнула под одеяло. Лежа не так страшно умирать, как стоя или сидя, а она была уверена, что угрызения совести и тоска убьют ее... Она спрятала голову под подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь от стыда, завертелась под одеялом... От одеяла пахло сигарами, которые курил он... Что-то он скажет, когда придет?

В третьем часу ночи пришел он. Дирижер был пьян. Он напился с горя и от бешенства. Ноги его подгибались, а руки и губы дрожали, как листья при слабом ветре. Он, не скидая шубы и шапки, подошел к постели и постоял минуту молча. Она притаила дыхание.

– Мы можем спать покойно после того, как осрамились на весь свет! – прошипел он. – Мы, истинные артисты, умеем мириться со своею совестью! Истинная артистка! Ха! ха! Ведьма!

Он сдернул с нее одеяло и швырнул его к камину.

– Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб черт забрал тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Он рванул ее за руку. Она села на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ее дрожали.

– Прости меня!

– Ха! ха! Рыжая!

Он рванул ее за сорочку и увидел белое, как снег, чудное плечо. Но ему было не до плеч.

– Вон из моего дома! Одевайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла к стулу, на котором беспорядочной кучей лежало ее платье, и начала одеваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно с ее стороны отравлять жизнь этого великого человека! Она уйдет, чтобы не продолжать этой подлости. И без нее есть кому отравлять жизни...

– Вон отсюда! Сейчас же!

Он бросил ей в лицо кофточку и заскрежетал зубами. Она оделась и встала около двери. Он замолчал. Но недолго продолжалось молчание. Дирижер, покачиваясь, указал ей на дверь. Она вышла в переднюю. Он отворил дверь на улицу.

– Прочь, мерзкая!

И, взяв ее за маленькую спину, он вытолкнул ее...

– Прощай! – прошептала она кающим голосом и исчезла в темноте.

А было туманно и холодно... С неба моросил мелкий дождь...

– К черту! – крикнул ей вслед дирижер и, не прислушиваясь к ее шлепанью по грязи, запер дверь. Выгнав подругу в холодный туман, он улегся в теплую постель и захрапел.

– Так ей и следует! – сказал он утром, проснувшись, но... он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. Неделию ходил он, как полупьяный, страдая, поджидая ее и терзаясь неизвестностью. Он думал, что она придет, верил в это... Но она не пришла. Отравление человека, которого она любит больше жизни, не входит в ее программу. Ее вычеркнули из списка артисток театра за «неприличное поведение». Ей не простили скандала. Об отставке ей не было сообщено, потому что никто не знал, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое...

– Она замерзла или утопилась! – предполагал дирижер.

Через полгода забыли о ней. Забыл о ней и дирижер. На совести каждого красивого артиста много женщин, и, чтобы помнить каждую, нужно иметь слишком большую память.

Все наказывается на этом свете, если верить добродетельным и благочестивым людям. Был ли наказан дирижер?

Да, был.

Пять лет спустя дирижер проезжал через город Х. В Х. прекрасная опера, и он остался в нем на день, чтобы познакомиться с ее составом. Остановился он в лучшем Hotel'e и в первое же утро после приезда получил письмо, которое ясно показывает, какую популярность пользовался мой длинноволосый герой. В письме просили его продирижировать «Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелает ли он, мой герой (просили его в письме), взять на себя труд воспользоваться случаем и угостить своим искусством музыкальнейших обывателей города Х.? Мой герой согласился.

Он взялся за палочку, и «чужие» музыканты увидели лицо с молниями и тучами. Молний было много. И немудрено: репетиций не было, и пришлось начинать блистать своим искусством прямо со спектакля.

Первое действие прошло благополучно. То же случилось и со вторым. Но во время третьего произошел маленький скандал. Дирижер не имеет привычки смотреть на сцену или куда бы то ни было. Все его внимание обращено на партитуру.

Когда в третьем действии Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запела за прялкой свою песню, он улыбнулся от удовольствия: барыня пела прелестно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробежали молнии, и он с ненавистью поглядел на сцену. Но шах и мат молниям! Рот широко раскрылся от изумления, и глаза стали большими, как у теленка.

На сцене за прялкой сидела та рыжая, которую он когда-то выгнал из теплой постели и толкнул в темный, холодный туман. За прялкой сидела она, рыжая, но уже не совсем такая, какую он выгнал, а другая. Лицо было прежнее, но голос и тело не те. Тот и другое были изящнее, грациознее и смелее в своих движениях.

Дирижер разинул рот и побледнел. Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одном месте и замерла в одном положении...

– Это она! – сказал он вслух и засмеялся.

Удивление, восторг и беспредельная радость овладели его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а стала великаном. Это приятно для его дирижерского сердца. Одним светилом больше, и искусство в его лице захлебывается от радости!

– Это она! Она!

Палочка замерла в одном положении, и, когда он, желая поправить дело, махнул ею, она выпала из его рук и застучала по полу... Первая скрипка с удивлением поглядела на него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что с дирижером дурно, замолкла и опять начала, но невпопад... Звуки завертелись, закружились в воздухе и, ища выхода из беспорядка, затащили возмутительную резь...

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гневным взором измерила «этих пьяниц», которые... Она побледнела, и глаза ее забегали по дирижеру...

А публика, которой нет ни до чего дела, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала...

К довершению скандала Маргарита взвизгнула на весь театр и, подняв вверх руки, подавалась всем телом к рампе... Она узнала его и теперь ничего не видела, кроме молний и туч, опять появившихся на его лице.

– А, проклятая гадина! – крикнул он и ударил кулаком по партитуре.

Что сказал бы Гуно, если бы видел, как издеваются над его творением! О, Гуно убил бы его и был бы прав!

Он ошибся первый раз в жизни, и той ошибки, того скандала не простил он себе.

Он выбежал из театра с окровавленной нижней губой и, прибежав к себе в отель, заперся. Запершись, просидел он три дня и три ночи, занимаясь самосозерцанием и самобичеванием.

Музыканты рассказывают, что он посидел в эти трое суток и выдернул из своей головы половину волос...

– Я оскорбил ее! – плачет он теперь, когда бывает пьян. – Я испортил ее партию! Я – не дирижер!

Отчего же он не говорил ничего подобного после того, как выгнал ее?

## Барон

Барон – маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно, потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно найти очень часто в уборных, на донышках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, – замечательный сюртук. Он болтается на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облакал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том номере, в котором жил могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстук, греющий шею барона, не менее замечательный галстук. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси, беседуя в «Макбете» с ведьмами.

– От моего галстука пахнет кровью короля Дункана! – говорит часто барон, ища в своем галстуке паразитов.

Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.

Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки.

Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих логи и играет с кассиром в шашки. Старый и золотушный кассир – единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью, копченой рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.

– Bravo, bravo! – говорят они. – Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица! А где вы достали такой оригинальный костюм?

Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!

В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и пахивают рутинной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертится перед носом и

мешает, ему говорят: убирайтесь! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к черту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных острот и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие: он не ответит.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.

Заставить его переписать роль и не заплатить ему – тоже можно. Все можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаясь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно *jeune premier*<sup>27</sup>, он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его заботности и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!

А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта было много, желания – тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пустяка: смелости. Ему вечно казалось, что *они*, эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.

– Я подожду немного, – говорил он.

И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не попал, по протекции, в суфлерскую будку.

Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уж его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.

Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.

Но все-таки нужно выгнать его из театра.

Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.

Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! – и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.

Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается. Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет себе даже браниться из будки и подавать актеру советы.

– Правую руку вверх! – шепчет он часто. – У вас горячие слова, но лицо – лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы поглядели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О, боже мой! Он все испортил своей мещанской манерой!

И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.

---

<sup>27</sup> Первый любовник (франц.).

Скандал состоял в следующем.

Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами... Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает закипать бутылку. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудировал он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру Сорок лет он штудировал, страдает, сгорает от мечты... Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра... Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройти по сцене в принцессиней куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,

Сама собой, готова довести  
К отчаянью, когда посмотришь в бездну  
И слышишь в ней далекий плеск волны.

Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сгорел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!

В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором, а главное – рыжему. Неужели Гамлет был рыж?

Барон сидел в своей будке, как на горячих углях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, ныть. Шепот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше... Он впивался в лицо Гамлета и переставал шептать... Ему страстно хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до единого. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж – так шарж, черт возьми!

Во втором действии он уж вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.

– Хорош Гамлет! – бранился он. – Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!

Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикулируя руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потребовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на все готов: хоть на сто тысяч скандалов!

Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длинноволосый молодец» – актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задышавшись и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой зажестиковал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:

Распаленный гневом,  
В крови, засохшей на его доспехах,  
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр  
Отца Приама.

И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:

– Продолжай!

Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон, когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.

– Браво, барабанщик! – крикнули из райка.

Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутовски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.

Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!

«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! – думал он. – Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно, однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть по-человечески! Разве это место так ведется?»

И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику. Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:

Кровавый сластолюбец! Лицемер!

Бесчувственный, продажный, подлый изверг!

Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:

Глупец, глупец! Куда как я отважен!

Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Много портит и многому мешает старость.

Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний.

Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима.

## Месть

Был день бенефиса нашей ingenue<sup>28</sup>.

В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingenue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать...

– Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.

– Что вам угодно? Кто вы?

– Это я...

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.

– Подождите, я оденусь...

Через три минуты его пустили. Он вошел, поцеловал у ingenue руку и сел на кровать.

– Я к вам по делу, – начал он, закуривая сигару. – *Я хожу* к людям только по делу, ходить же в гости я предоставляю господам бездельникам. Но к делу... Сегодня я играю в вашей пьесе графа... Вы, конечно, это знаете?

– Да.

– Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете... Знаете?

– Да.

– Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего – истина! Впрочем, mademoiselle, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине...

– Да, это правда...

– Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне необходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.

– Я вам могу помочь?

– Да. После *вашего* у вас остался прекрасный голубой халат с бархатным воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!

Наша ingenue вспыхнула... Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.

– Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль...

Ingenue заходила по комнате. Нечесанные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи... Она зашевелила губами и пальцами...

– Нет, не могу! – сказала она...

– Это странно... Гм... Можно узнать почему?

– Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!.., нет! Никогда! Он нехорошо поступил со мной, он неправ... Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй... Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые

---

<sup>28</sup> Инженю (франц.).



деньги к нему, – он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!

Ingene повалилась в кресло, на котором лежала свежевыглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках...

– Он ограбил меня! – продолжала она всхлипывая. – Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? Зачем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?

Комик встал и подошел к ней.

– Не будем плакать, – сказал он. – Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту... Утешьтесь!.. Искусство – самый радикальный утешитель!

Но ничего не поделал радикальный утешитель.

За всхлипыванием последовала истерика.

– Это пройдет! – сказал комик. – Я подожду.

Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели, на которых спят ingene порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но все это не мешало нахалу сладко потянуться. Черт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!

Он лежал и потягивался, а плечи ingene прыгали, из груди ее вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку... Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingene откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.

Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крикнул, поднялся и сел.

– Он поступил со мной нечестно, – продолжала она, – но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и... плачу...

– Я ничего не имею против этих похвальных чувств, – сказал комик, – напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен... Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!

И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:

– Тем более, что я вам завтра же возвращу его...

– Ни за что!

– Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право...

– Нет, нет! Ни за что!

Ingene забегала по комнате и замахала руками.

– Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!

– Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?... Вы – артистка!

– Ни за что! И не говорите!

Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:

– Не дадите?

– Ни за что!

– Гм... Тэксс... Это по-товарищески... Так поступают только товарищи!

Комик вздохнул и продолжал:

– Жалко, черт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества... Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники! Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для того, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи... чтобы глазки делать... щекотать инстинкты райка... Не дадите?

– Ни за какие деньги!

– Это последнее слово?

– Да-

– Прелестно...

Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты ingenue. Красный как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!

Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска все замазала, кроме зияющих щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором складывались кули с мукой. Амбар был произведен в театры не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.

Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но все это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.

Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:

– Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!

Комик стукнул кулаком по столу и, негодующий, опустился на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянный сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!

Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валяных калошах. На окне – лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже Северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея. Черт знает что! И сердиться даже холодно.

– Она будет меня помнить! – закончил свою филиппику комик.

Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полкой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.

Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали способа. Нужно же отомстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!

Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь... Они же, кстати, и не мерзнут.

В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье – старый кассир в собачьей шубе и валенках. Все серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они

начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу – больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!

Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.

Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: *«На сегодняшний спектакль все билеты распроданы»*. Ему за все время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не находит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!

Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер соображать, но на этот раз он сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:

– Идея! Прелестно!

Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.

– Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за все время своего существования висел над окошечком и... лгал.

Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingenue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.

– Меня не любит публика! – говорила она.

Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно. Вечером же в портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и – больше ничего<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Рассказ «Жены артистов», вошедший в «Сказки Мельпомены», читайте на стр. 32. первоначально был включен в изданный сборник «Шалость».

## Трагик

Был бенефис трагика Феногенова.

Давали «Князя Серебряного». Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов – Дружину Морозова, г-жа Беобахтова – Елену... Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали... Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И не мудрено: она была в театре первый раз в жизни!

– Как хорошо они представляют! Как отлично! – обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. – Как хорош Феногенов!

И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.

– Папа! – обратилась она к отцу в последнем антракте. – Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!

Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:

– Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!

И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.

– Все приходите, кроме женского пола, – шепнул он. – Актрис не надо, потому что у меня дочка.

На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!

Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства и с этого раза стали почти каждый день приходиться в дом исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.

Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.

– Ты ему мотивы, мотивы ты ему! – говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. – Почтения ему подпусти... Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакое... чтоб прослезился...

Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».

И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:

«Папа, он бьет меня! Прости нас!»

Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:

– Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за этакие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.

Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:

– Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!

Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.

– Я оскорблен вашим отцом! – сказал ей трагик. – Между нами все кончено!

А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.

– Я люблю вас! – просила она. – Не гоните меня, Кондратий Иванович! Я не могу жить без вас!

Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини», – так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей... Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали ingenue. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась.

Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.

– Разве это актриса? – говорил он. – Ни фигуры, ни манер, а так только... одна глупость...

В одном губернном городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша – Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась... Она точно застыла.

– Пожалейте меня! – прошептала она ему на ухо. – О, пожалейте меня! Я так несчастна!

– Роли не знаешь! Суфлера слушай! – прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.

После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.

– Жена твоя ролей не учит, это ты правильно... – говорил антрепренер. – Функции своей не знает... У всякого человека есть своя функция... Так вот она ее-то не знает...

Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился...

На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:

«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»

## Из сборника «Пестрые рассказы»

### Темною ночью

Ни луны, ни звезд... Ни контуров, ни силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки... Все утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи... Дождь жарит, как из ведра... Грязь страшная...

По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. В таратайке сидит мужчина в шинели инженера-путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Ямщик пьян как стелька. Коренной хромает, фыркает, вздрагивает и плетется еле-еле... Пугливая пристяжная то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная... Что ни шаг, то колдобина, бугор, размытый мостик. Налево воет волк; направо, говорят, овраг.

– Не сбились ли мы с дороги? – вздыхает инженерша. – Ужасная дорога! Не выврати нас!

– Зачем выворачивать? Ээ... т! Какая мне надомность вас выворачивать? Эх, по... подлая! Дрожи! Ми... лая!

– Мы, кажется, сбились с дороги, – говорит инженер. – Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? Разве это дорога?

– Стало быть, дорога!..

– Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?

– По... потерял, ваше высоко...

– Убью, коли что... Помни! Погоняй, подлец! Стой, куда едешь? Разве там дорога?

Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает вожжи и тянет за правую. Коренной шлепает по грязи, круто поворачивает и вдруг, ни с того ни с сего, начинает как-то странно барахтаться... Ямщик сваливается и исчезает, пристяжная цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту...

Овраг не глубок. Инженер поднимается, берет в охапку жену и выкарабкивается наверх. Наверху, на краю оврага, сидит ямщик и стонет. Путеец подскакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить...

– Убью, рразбойник! – кричит он.

Кулак размахнулся и уже на половине дороги к ямщицкой физии... Еще секунда и...

– Миша, вспомни Кукуевку! – говорит жена.

Миша вздрагивает и его грозный кулак останавливается на полпути. Ямщик спасен.

## На гвозде

По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.

– Да и пожрем же мы сейчас, братцы! – мечтал вслух именинник. – Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть... Воронцовская... Жена, небось, заждалась!

Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.

– Чувствуете? – спросил Стручков и захихикал от удовольствия. – Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!

– А это что такое? – спросил один из компании, указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.

– Это его фуражка! – прошептали они. – Он... здесь!?!

– Да, он здесь, – пробормотал Стручков. – У Кати... Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.

– Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! – слиберальничал помощник архивариуса. – Черти его принесли! Он скоро уйдет?

– Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим... Потом повторим, братцы... После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет... Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут...

– А сардин купил?

– Две коробки. Колбаса четырех сортов... Жене, должно быть, тоже есть хочется... Ввалился, черт!

Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильнее прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.

– Опять неблагополучно, братцы!

– Что такое?

Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.

– Это Прокатилова шапка, – сказал Стручков. – Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь... Этот недолго сидит...

– И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! – слышался сиплый бас из гостиной.

– Дуракам счастье, ваше превосходительство! – аккомпанировал женский голос.

– Выйдемте! – простонал Стручков.

Пошли опять в трактир. Потребовали пива.

– Прокатилов – сила! – начала компания утешать Стручкова. – Час у твоей посидит, да зато тебе... десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.

– Ян без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен – все перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.

## Размазня

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

– Садитесь, Юлия Васильевна! – сказал я ей. – Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...

– По сорока...

– Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца...

– Два месяца и пять дней...

– Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычесть девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..

– Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь – девятнадцать. Вычесть... останется... гм... сорок один рубль... Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но – ни слова!..

– Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки.

Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...

– Я не брала, – шепнула Юлия Васильевна.

– Но у меня записано!

– Ну, пусть... хорошо.

– Из сорока одного вычесть двадцать семь – останется четырнадцать...

Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

– Я раз только брала, – сказала она дрожащим голосом. – Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...

– Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

– Mercі, – прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

– За что же mercі? – спросил я.

– За деньги...

– Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же mercі?

– В других местах мне и вовсе не давали...

– Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой



кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

## Патриот своего отечества

Маленький немецкий городок. Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод. В нем больше отелей, чем домов, и больше иностранцев, чем немцев.

Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелестнейшего сада.

В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, за белым мраморным столиком, сидело двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли «в дамки» и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и ожирения печени.

Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна... Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдвух в уши русских толстячков чуднейшие звуки. У подножия горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы – далеко! Доносилась одна только мелодия... Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая, тягучая... Слушаешь ее – и сладко нить хочется...

Русские лезли «в дамки» и задумчиво внимали. Оба были в блаженнейшем настроении духа. Шепот лип, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией – все это, вместе взятое, развезло их русские души.

– При этакой обстановке, Тарас Иваныч, хорошо тово... любить, – сказал один из них. – Влюбиться в какую-нибудь да по темной аллейке пройтись...

– М-да...

И наши русские завели речь о любви, о дружбе... Сладкие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, бессознательно оставили в покое шашки, подперли свои русские головы кулаками и задумались.

Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву. Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки.

Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, старцы в мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загладели... Сзади несли бочонки с пивом и вином. Сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни.

Русские умилились духом. И им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался на стол и произнес трескучую речь. За ним – другой, третий, четвертый... Говорили, взвизгивали, махали руками...

Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. Петр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не... немцев бить!»

Счастье его, что немцы не понимают по-русски!

## Случай из судебной практики

Дело происходило в N...ском окружном суде, в одну из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N...ский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу – легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением...

В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не менее внушительных стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «Я кончил», – поднялся защитник. Все наостригли уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил и... пошли плясать нервы N...ской публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке... После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе поглядывать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись... А что делалось с сердцами?!

– Мы – люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! – сказал между прочим защитник. – Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение... Гм... Его посадили рядом с ворами и убийцами... Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы... Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания... Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.

Защитник говорил и говорил... Факты он миновал, а напирал больше на психологию.

– Знать его душу – значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир... Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека... Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека...

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол... Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! – подумал он. – Ведь это такое фиаско потерпеть! А?»

– Взгляните на его глаза! – продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа). Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался...

– Виноват! – заговорил он, перебивая защитника. – Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать... Каюсь! Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.

## Загадочная натура

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, *rinse-nez* то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована... Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» – из великосветской жизни... Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает... Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

– О, я постигаю вас! – говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. – Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта... Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

– Опишите меня, Вольдемар! – говорит дамочка, грустно улыбаясь. – Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра... Но главное – я несчастна! Я страдальца во вкусе Достоевского... Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы – психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

– Говорите! Умоляю вас, говорите!

– Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но... дух времени и среды... *vous comprenez*<sup>30</sup>, я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты... брал взятки... Мать же... Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?... Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете... К несчастью, я наделена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком – в этом я видела свое счастье!

– Чудная! – лепечет писатель, целуя руку около браслета. – Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

– О, Вольдемар! Мне нужна была слава... шум, блеск, как для всякой – к чему скромничать? – недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного... не женского! И вот... И вот... подвернулся на моем пути богатый старик-генерал... Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро... А как я страдала, как невыносимы, низкомерно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты... ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива... А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

– Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо... Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но... нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой... отдохнуть... Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я

---

<sup>30</sup> Вы понимаете (*франц.*).

несчастлива, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

– Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

– Другой богатый старик...

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многоточную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки...

## Верба

Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.?

Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава... Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, обрванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуňte руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикie пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина во «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину – старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут... Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их...

Лет тридцать тому назад, в Вербное воскресенье, в день именин старухи-вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил... Кругом было тихо, как всегда... Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т-я почта.

И в это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевелился. На его белокурой голове зазяло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел прямо на него... Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясаясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по лошадям.

– Караул! Режут! – закричал он.

Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «караул».

Дней через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип во все время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха-верба днем молчала, а ночью плакала. «Дура!» – думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже с сумкой в город.

– Где здесь присутственное место? – спросил он, войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бранил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой-вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел.

– Сейчас! – сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники... Забежали, засуетились, зашептали... Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал:

– Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый мой! Ты иди в полицию.

Архип взял сумку и вышел.

«А сумка полегче стала! – подумал он. – Наполовину меньше стала!»

На Нижней улице ему указали на другой желтый дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате.

– А деньги же где? – послышалось через минуту из этой комнаты. – Сумка пуста! Скажите, впрочем, старику, что он может идти! Или задержать его! Отведите его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!

Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду...

Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду.

– Где она? – спрашивал он Архипа.

Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро сжалился над ним.

– Як начальству снес! – сказал он. – Но ты, дурень, не бойся... Я сказал там, что под вербой нашел...

Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при мельнице, вместе с Архипом.

Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.

– Будет тебе, дурень, слоняться! – сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона. – Уходи.

И почтальон то же самое сказал... И верба прошептала то же...

– Не могу! – сказал ямщик. – Пошел бы, да ноги болят, душа болит!

Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на колени и покаялся. Усач удивился.

– Чего на себя клепаешь, дурак! – сказал он. – Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! Только путают дело... Преступник не найден – ну, и шабаш! Что ж тебе еще нужно? Убирайся!

Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха... Не нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе...

И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха-верба две тени... Не с ними ли они шепчутся?



## Вор

Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью ночи... Дул сырой, холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров... даже намеков нет на эту роскошь.

У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд «образованного человека». Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке.

– Христос воскрес, Гурий Иванович! – остановил доктора Федор Степаныч.

Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед *ссылным* петличкой, в которой болтался «Станислав».

– А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться, – сказал Федор Степаныч. – Вы уж позвольте мне у вас разговеться... Прошу вас... Я, бывало, *там* в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет...

– Едва ли это будет удобно... – сконфузился доктор. – У меня семейство, знаете ли... жена... Вы хотя и тово... но все-таки не тово... Все-таки предубеждение! Я, впрочем, ничего... Кгм... Кашель...

– А Барабаев? – проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. – Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!..

Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению.

«Крестный ход, – подумал *ссылный*. – Как и *там*, у нас...»

От огоньков несясь звон. Колокола-тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь.

«Первая Пасха здесь, в этом холоде, – подумал Федор Степаныч, – и... не последняя. Скверно! А *там* теперь, небось...»

И он задумался о «*там*»... Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны... Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке... Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками...

«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здесь дрянная водка, пить нельзя...»

Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка... Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать...

– А если меня в Сибирь сошлют? – спросил он ее. – Пойдешь со мной?

– Разумеется! Хоть на край света!

Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега.

«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже... Смеялась, когда защитник острил... Убить мало...»

И эти воспоминания сильно утомили Федора Степаныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь, к родной заутрене... Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель.

Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повывраны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой...

«Спать не дает! – подумал Федор Степаныч. – Че-ерт...»

Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссылный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах.

– Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще доставало!

Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.

Но минут через десять она, показалосьсылному, вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу... Нос, как буравчик... Вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, исылному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья... Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья... Ссылный забылся...

– Ты за што это тварь убил, душегубец? – услышал он под утро.

Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел перед собой хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.

– За што ты, окаанный, убил мою пташку? Певунью-то мою за што ты убил, сатана чертова? А? Кого это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сею минутою уходи! Сичас!

Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное... Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить...

– Бон-жур! С праздником, мон-шер! – услышалсылный, выйдя за ворота.

Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.

«Визиты делает! – подумал Федор Степаныч. – И тут, скотина, сумел примазаться... Знакомых имеет... Было б и мне побольше украсть!»

Подходя к церкви, Федор Степаныч услышал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.

– Где здесь... Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли это? – запищала головка.

Ссылный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку...

– Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Надумала, Оля?

– Где здесь Барабаев живет?

– А на что тебе Барабаев?

– Он меня выписал... Две тысячи, вообрази, прислал... По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?..

До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце.

«Неужели эти звери могут жить без солнца? – думал он, мяся ногами жидкий снег. – Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус».

## Раз в год

Маленький трехоконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевychищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятками и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость! Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие... человек двадцать! Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу... А она знает, как держать себя с этими господами! Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях... Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут...

Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять минут.

«Не к нам!» – думает княжна.

Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.

– Никто не приехал! Никто!

Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь...

– Никто не приехал! – плачет княжна. – Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий... Оставили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой – только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.

– Не вышло бы-с! – поддакивает Марк.

– Я не прошу благодарности... Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его вексям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу... Я истратила на него... сам знаешь...

– И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.

– И вот... вот она благодарность! О люди!

В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко... Марк застаёт князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу пот. В голове его шум, в желудке

революция. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.

– Нехорошо-с, Иван Михалыч! – говорит он, укоризненно покачивая головой. – Нехорошо-с!

– Что нехорошо?

– Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?

– Убирайся к черту! – говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.

– Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! Ну с какой стати вы их огорчаете?

– Я не делаю визитов... Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел... Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу...

– Спать хочу... Лицо-то небось воротите! стыдно в глаза глядеть!

– Ну... тсс... Дрянь ты этакая! Паршак!

Продолжительное молчание.

– А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! – говорит Марк ласково. – Оне плачут, мечутся на постельке... Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение... Съездите, батюшка!

– Не поеду. Незачем и некогда... Да и что я буду делать у старой девки?

– Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!

Марк проводит рукавом по глазам.

– Сделайте милость!

– Гм... А коньяк будет? – говорит Жан.

– Будет, батюшка, ваше сиятельство!

Князь подмигивает глазом.

– Ну, а сто рублей будет? – спрашивает он.

– Никак это невозможно! Самим вам небезызвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что были... Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь... Божья воля!

– В прошлом году я за визит с вас... сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет? Шутки шутишь, ворона! Поройся-ка у старухи, найдешь... Впрочем, убирайся. Спать хочу.

– Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары оне, слабы... Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне...

– Ma tante<sup>31</sup>, – говорит он, прижимаясь к ее руке.

И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.

– Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы... Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы... забыл ее фамилию...

– Неужели?

Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долею ужаса, повторяет:

– Неужели?

---

<sup>31</sup> Тетушка (франц.).

– Да... На дуэлях дерется, за певицами бегают, а тут жена... чахни и сохни по его милости... Не понимаю таких людей, *ma tante*!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается... Подается чай с коньяком.

И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

## Герой-барыня

Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Время было уже близко к жаркому и душному полудню, однако это не помешало моей героине нарядиться в черное шелковое платье, застегнутое у самого подбородка и тисками сжимавшее талию. Она знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и твоё имение продано. Ничего не поделал...» Лидия Егоровна побледнела, покачнувшись на стуле и продолжала читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному делу. Целую».

– Разорены! На два месяца в Одессу... – простонала Лидия Егоровна. – К своей, значит, поехал... Боже мой!

Она подкатила глаза, зашаталась, ухватила рукой за перила и готова уже была упасть, как послышались внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как анекдот о собаке Каквасе, и хилый, как новорожденный котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним семенил маленький бритый старичок, отставной профессор Павел Иванович Кнопка, в большом стародавнем цилиндре с широкими приподнятыми полями. Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, а профессор поражал белизною своих одежд и гладкостью подбородка. Оба сияли.

– А мы к вам, шарманочка! – протребезжал генерал, довольный тем, что сумел по-своему переделать слово «charmante»<sup>32</sup>. – С добрым утром, фея! Фея пьет кофея...

Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к гостям обе руки. Те облобызали и сели.

– Вы, кузен, вечно веселы! – начала кузина гостинный разговор. – Счастливый характер!

– Как, бишь, я сказал? Ах, да! Фея пьет кофея... Ха-ха-ха. А мы с герром профессором уж выкупались, позавтракали и визиты делаем... Беда мне с этим профессором! Жалуюсь вам, фея! Беда! Собираюсь его под суд отдать! Хе-хе-хе... Либерал! Вольтер, можно сказать!

– Что вы?! – улыбнулась Лидия Егоровна и подумала: «В Одессу на два месяца... к той...»

– Честное слово! Такие идеи проповедует... такие идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, друг мой, кто красному рад? Знаете кто? Хххе... Ответьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!

– Каков генерал? – захохотал Кнопка, кривя свой ученый подбородок. – И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни только быки боятся красного! Ха-ха-ха... Что, съели-с?

– Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! – послышался внизу террасы женский голос, и через минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка по даче. – Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, генерал, я не помешаю...

– Мы о красном-с! – продолжал Зазубрин. – А вот-с, кстати, о быках... Вы это верно, Павел Иванович, насчет быков! Раз в Грузии, где я баталионом командовал, бык увидел мою красную подкладку, испугался и полетел на меня... рогами прямо... Саблю пришлось обнажить. Честное слово! Спасибо, казак близко был и пикой его, каналью, отогнал... Чего вы смееетесь? Не верите? Ей-богу, отогнал...

---

<sup>32</sup> Прелестная (франц.).

Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «В Одессе теперь... развратник!»

Кнопка заговорил о быках и буйволах. Княгиня Дромадерова заявила, что все это скучно. Заговорили о красной подкладке...

– Касательно этой подкладки у меня в памяти случай есть, – сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. – Был у меня в батальоне полковничек, некий Конвертов, Петр Петрович... Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, басенник... Из простых солдафонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные... В боях был. Любил я его, покойника. Лет ему семьдесят было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, ординарец вкладывал... Расстегнется, извините, а застегнуться уж и не может... И у этого расслабленного мечта в голове была генералом быть. Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает... натура, значит, такая... воин! И в отставку не хотел из-за генеральства... Прослужил лет пять в полковниках, представили его... И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич в самый тот раз, когда производство вышло... Отняло ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да ноги поослабили сильно... Поневоле пришлось в отставку выйти и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходительством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая недвижима, как монумент. Одно только утешение осталось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой... Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх... Утешался, утешался как малый дите, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать... Идет слепенький, седенький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто нараспашку... Чудачок! Скоро за тем померла у него старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится и подкладку духовенству показывает. Приставили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберегла... А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скопидомка... Сахарку припрячет, чайку там, копеечку... Кругом его ошипала. Щипала-щипала, ерзала-ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза! Взяла, стержовза, да и отпоролла его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!..

Дромадерова нашла, что все это очень скучно, и заговорила о сыне-поручике. Перед обедом явились соседки – девицы Клянчины с тапан. Они сели за рояль и запели любимую песню Зазубрина. Сели обедать.

– Отличный редис! – заметил профессор. – Где вы такой покупаете?

– Он теперь в Одессе... с этой женщиной! – ответила Лидия Егоровна.

– Что-с?

– Ах... Я не о том! Не знаю, где повар берет... Что это со мной?

И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захохотала над своей рассеянностью... После обеда пришла толстая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером приезжали гости из города...

Только в ночь, проводив последнего гостя и простояв неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидия Егоровна могла ухватиться одной рукой за те же перила, покачнуться и зарыдать.

– Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он еще изменил!

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикетке, и она могла рыдать!

Черт знает на что уходит иногда силища!



## Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

– Ничего, ничего...

– Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжало-ву, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

– Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

– Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал соорудил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

Он понял!

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.

Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!

По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог спустились до половины. Донельзя изношенные, заплатанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный пояс сполз с живота на бедра, а рубаха так и тянет вверх к лопаткам.

В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самодельковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее... Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола.

Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, козлиная борода дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику.

– Пшла! – говорит он пугливо.

Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином.

Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, нако-

нец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов триста.

В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда – и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок, сверх ожидания, не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдаст в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он находит кровавое пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.

– В голову попал! – говорит он с восторгом дворняге.

Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровавая капля...

Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.

Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.

– Вы что же это? Стреляете? – говорит поляк насмешливым голосом. – Очень приятно!

Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлечшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.

– Как же вы смеете стрелять? – спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. – Это, стало быть, ваш лес? Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?

– Павел Хромой, – еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье. – Из Кашиловки.

– Из Кашиловки, черт побрал! Кто же позволял вам стрелять? – продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слогое от конца. – Дайте сюда ружье!

Хромой подает поляку ружье и думает:

«Лучше б ты меня по морде, чем выкать...»

– И шапку давайте...

Хромой подает и шапку.

– Вот я вам покажу, как стрелять! Черт побрал! Пойдемте!

Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет за ним.

Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но тем не менее сильно пахнет жильем. Посреди конторы – большой дубовый стол. На столе две-три счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Все это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутылка с какой-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной...

– Надо будет акт составить, – говорит Кржевецкий. – Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги!

Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.

– Вы у меня не уйдете, – говорит приказчик, зевая. – А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет...

Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы.

По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос – где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо... Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.

– Дззз... – жужжат мухи. – Попался? Попался?

По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски... Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается...

Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.

Глаза его косятся на осу.

«Отчего она, дура, в дверь не летит?» – думает он.

Проходит еще два часа. Кругом все тихо, беззвучно, мертво... Хромому начинает думать, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и оса, которая все еще, то и дело, падает со стекла. Оса уснет к ночи, – ну, а ему-то как быть?

– Так вот и люди, – философствует Хромой, глядя на осу. – Так и человек, стало быть... Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое...

Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький, толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник. Толстое, красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины.

Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно...

– Покажи-ка, что ты убил! – шепчет Волчков. – Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, образина!

Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами.

– Дурак! – говорит он. – Дурандас ты! Дурында пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?

– Стыдно, батюшка Петр Егорыч! – говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить...

– Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!

Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбуждающую охоту до Петрова дня.

– Так ты этого не знаешь? – спрашивает барин, окончив чтение.

– Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?

– А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божью портишь? Птичку вот эту убил. За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?

– Не могу, батюшка!

– А убил... И какая из этой птицы корысть, не понимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья... Так... Взял себе да сдуру и убил...

Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромого.

– Анафема ты, анафема! – продолжает Волчков. – Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, бога прославляет! Дай, мол, ее убью и... сожру... Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть... Пищат теперь...

Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки...

– Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч, – оправдывается дрожащим голосом Хромой.

– От чего же? Известно, от жадности!

– Никак нет, Петр Егорыч... Ежели я взял грех на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечистый попутал...

– Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашиловские, разбойники!

Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос:

– Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо... Непременно надо... Довольно уж вас баловать... До-воль-но! Послал за урядником... Акт сейчас составим... Послал... Улика налицо... Пеняй на себя... Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает... Умел грешить, сумей и наказание претерпеть... Охо-хоххх... Господи, прости нас грешных! Беда с этими... Ну, как у вас яровое?..

– Ничего... милости господни...

– Чего же ты глазами моргаешь?

Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет пояс.

– Чего глазами моргаешь? – повторяет Волчков. – Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?

– Ваше высокоблагородие! – говорит Хромой дребезжащей фистулой, громко, как бы собравшись с силами. – Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху, положим, убил... Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно... по вашему человеколюбию... А мне нешто не обидно? Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне... обидно-с... Разрази господи...

– Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?

– Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом... Пуцай урядник наезжает... Мой грех, я за него и ответчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу... Дозвольте, ваше высокоблагородие!

– Да что мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а все умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять... Говори! Чего же молчишь? Говори, Вильгельм Тель!

Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче...

– Никакого мне антитереса нет от этого скворца, – говорит он. – Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только... пустяк один. Сами можете понимать...

– Нет, не говори... Ты охотник вот, а не понимаешь... Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош... И соус можно... Как рябчик – один вкус почти...

И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет:

– Узнаешь сейчас, какого он вкуса... Увидишь...

– Не разбираем мы вкусов... Был бы хлеб, Петр Егорыч... Самим небезызвестно... А убил скворца от тоски... Тоска прижала...

– Какая тоска?

– А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта... Дозвольте вам объяснить... Выхожу это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе... Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился на плотине... Стою и смотрю на свет божий, как все в нем происходит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает... Утро рассвело и солнышко всходит... Вижу все это, радуюсь и на птишек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то: ек! Екнуло, стало быть...

– Отчего же это?

– Оттого, что птишек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки пролетели, да куличок прокричал где-то за речкой. Страсть как охоты захотел! С таким воображением и домой пришел. Сиж, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах птишки. Ем и слышу, как лес шумит и птишка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлявшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сиж на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе... Думаю, думаю... И все у меня в воображении братец ваш, покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им бог... в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в город везти докторам показывать мою способность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, кликнем собак Кару и Ледку, да... аах! Верст тридцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Батюшка благородный! Истинно вам говорю, что кроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего! Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его сиятельство, граф Тирборк, бил-ся-бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца!

Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутка сказать!

Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает:

– От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда – за сердце душит!

– Баловство!

– Никак нет, Петр Егорыч! Всю Святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье, поисправил – отлегло малость. На Преполовенье опять затошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку ходил пить – не помогает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосвятья напился... Назавтра тоска пуще прежнего... Ломит тебя да из избы гонит... Так и гонит, так и гонит! Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: в лес тянет... к болоту. Да и старуха срамить начала: «Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье... Шут с ним! Отлегло...

– Баловство!

– Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить... Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю... Баба моя спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли мое ружье таперича починить али нет?» – думаю. Встал да и давай починять.

– Ну?

– Ну, и ничего... Починил да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот... Туда мне и дорога... Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал...

– Сейчас урядник придет... Ступай в сени!

– Пойду-с... И на духу каялся... Батюшка, отец Петра, тоже рассказывает, что баловство... А по моему глупому предположению,

как я это дело понимаю, это не баловство, а болезнь... Все одно как запой... Один шут... Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю...

Красный нос Волчкова делается багровым.

– Запой – другое дело, – говорит он.

– Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю!

И молчание... Молчат минут пять и друг на друга смотрят.

Багровый нос Волчкова делается темно-синим.

– Одно слово-с – запой... Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть.

Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту.

– Ступай! – говорит он Хромому.

Хромой не понимает.

– Ступай и больше не попадайся!

– Сапожки пожалуйте-с! – говорит понявший и просиявший мужичонок.

– А где они?

– В шкафе-с...

Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается все легче и легче.

Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу.

Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.

## Добродетельный кабатчик (Плач оскудевшего)

*«– Подай, голубчик, холодненькой закусочки... Ну и... водочки...»  
(Надгробная эпитафия)*

Сижу теперь, тоскую и мудрствую.

Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки – птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались «ах, вы, кони мои, кони...», мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна, хочешь – ешь, хочешь – зоологией и ботаникой занимайся... Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похвастать...

Теперь не то, совсем не то!

Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем... На душе кошки скребли, реветь хотелось...

Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим Цуцыков, кабатчик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола.

– Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить! – сказал он, ставя на стол бутылку водки. – Крыша железная, без краски ржавеет. А ржа, известно, ест... Дыры будут!

– За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка? – говорю я. – Сам знаешь...

– Займите-с! Дыры будут, ежели... Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад прина- нять... Деревья воруют!

– Ах, опять-таки нужны деньги!

– Я дам... Все одно, отдадите. Не в первый раз берете-то...

Отвалил мне Цуцыков пятьсот целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах... Хотел даже в «Русь» статью писать...

– Благодарствует мне, великодушничает... за что? За то, что я его... сек когда-то... Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы!

Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуцыков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал.

– Теперь новый строить нужно, – сказал он мне после пожара. – У меня лесок есть, при- шлю... Приказали бы, барин, прудик почистить... Вчерась карасей ловили и весь невод о водо- росль разорвали... Триста рублей стоит... Возьмите! Не впервой берете-то...

И так далее... Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни – и все это на деньги Цуцыкова.

Неделю тому назад приходит ко мне Цуцыков, становится у дверей и почтительно каш- ляет в кулак.

– И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, – говорит он. – Графу аль князю впору жить... И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели...

– А все ты, Ефимушка! – говорю я, чуть не плача от умиления.

Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика...

– Бог даст, дела поправятся, все отдам, Ефимушка... С процентами. Дай мне еще раз обнять тебя!

– Все починили и благоустроили... Помог бог! Осталось теперь одно только: лисицу отседа выкурить...

– Какую лисицу, Ефимушка?



– Известно какую...

И, помолчав немного, Цуцыков добавляет:

– Судебный пристав там приехал... Вы бутылки приберите-то... Неравно пристав увидит... Подумает, что у меня в имении только и дела, что пьянство... Фатеру прикажете вам в деревне нанять аль в город поедете?

Сижу теперь и мудрствую.

## Дочь Альбиона

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

– Господа дома? – спросил предводитель.

– Никак нет-с. Барыня с детьми в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорее на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царил гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

– Охота смертная, да участь горькая! – засмеялся Отцов. – Здравствуй, Иван Кузьмич!

– А... это ты? – спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. – Приехал?

– Как видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

– Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

– А ты наплюй. Пойдем водку пить!

– Постой... Может быть, что-нибудь да поймает. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...

– Но... ты с ума сошел? – спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. – Бранишься при даме... и ее же...

– Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани – ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду тарашит.

Англичанка зевнула, переменяла червячка и закинула удочку.

– Удивляюсь, брат, я немало! – продолжал Грябов. – Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо поихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

– Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?

– Она не женщина, а девица... О женихах, небось, мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.., и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

– Видал? – спросил Грябов, хохоча. – Натё, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы её и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой... У меня, кажется, клюёт...

Грябов вскочил и поднял удилице. Леска натянулась... Грябов дернул ещё раз и не вытащил крючка.

– Зацепилась! – сказал он и поморщился. – За камень, должно быть... Черт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

– Экая жалость! В воду лезть надо.

– Да ты брось!

– Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

– Мисс... эээ... – обратился он к англичанке. – Мисс Тфайс! Же ву при...<sup>33</sup> Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

– Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

– Первый раз в жизни её голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

– Плюнь! Пойдем водки выпьем!

– Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

– Послушай, Иван Кузьмич, – сказал предводитель, хохоча в кулак. – Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

– Её никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами... По желтому лицу её пробежала надменная, презрительная улыбка.

– Надо остынуть, – сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. – Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

– Да полезай скорее в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

– И хоть бы сконфузилась, подлая! – сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. – Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

– Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

<sup>33</sup> Я прошу вас (от франц. – Je vous prie).

## Краткая анатомия человека

Одного семинариста спросили на экзамене: «Что такое человек?» Он отвечал: «Животное»... И, подумав немного, прибавил: «но... разумное»... Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа, за первую же вклеили единицу.

Человека как анатомическое данное составляют:

*Скелет* или, как говорят фельдшера и классные дамы, «шкилет». Имеет вид смерти. Покрытый простынею, «пугает насмерть», без простыни же – не насмерть.

*Голова* имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других – для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно... Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидел мозг. «Это что такое?» – спросил он доктора. – «Это то, чем думают», – отвечал доктор. Околоточный презрительно усмехнулся...

*Лицо*. Зеркало души, но только не у адвокатов. Имеет множество синонимов: морда, физиономия (у духовенства – физиогномия и лице), физия, физиомордия, рожество, образина, рыло, харя и проч.

*Лоб*. Его функции: стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь.

*Глаза* — полицеймейстеры головы. Блюдут и на ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. В дни печалей плачут. В нынешние, беспечальные, времена плачут только от умиления.

*Нос* дан для насморков и обоняния. В политику не вмешивается. Изредка участвует в увеличении табачного акциза, чего ради и может быть причислен к полезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумства – так полагают, по крайней мере, сведущие люди.

*Язык*. По Цицерону: *hostis hominum et amicus diaboli feminarum-que*<sup>34</sup>. С тех пор, как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык – вареный.

*Затылок* нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный.

*Уши*. Любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы.

*Руки*. Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют... У маленьких служат средством пропитания, у тех, кто побольше, – для отличия правой стороны от левой.

*Сердце* — вместилище патриотических и многих других чувств. У женщин – постоянный двор: желудочки заняты военными, предсердия – штатскими, верхушка – мужем. Имеет вид червонного туза.

*Талия*. Ахиллесова пятка читательниц «Модного света», натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов и у... продавцов корсетов. Второй наступательный пункт при любовно-объяснительной атаке. Первым считается поцелуй.

*Брюшко*. Орган не врожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка – не действительный статский советник. (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов – нутром, у купчих – утробой.

*Микитки*. Орган в науке не исследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей – повыше живота.

---

<sup>34</sup> Враг людей и друг дьявола и женщин (лат.).

*Ноги* растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почталионов, должников, репортеров и посыльных.

*Пятки*. Местопребывание души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегущего с поля брани.

## Шведская спичка (Уголовный рассказ)

### I

Утром, 6 октября 1885 г., в канцелярию станового пристава 2-го участка С-го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса.

– С кем я имею честь говорить? – спросил его становой.

– Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Псковым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.

– Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, – заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.

– Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? – спросил становой.

– Никак нет, ваше высокородие, – сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. – Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, глядя на окно. – Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, – не слушался! Распутство не доводит до добра!

– Спасибо Ефрему, – сказал Псеков, – без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом... Мысль сейчас мелькнула... Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней – шутка сказать!

– Да, бедняга... – вздохнул еще раз становой. – Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, – обратился становой к одному из понятых, – съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пуцай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику – чего он там прохлаждается? Пуцай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.

– Вот-с... – говорил он Пскову. – Вот-с... Дворянин, богатый человек... любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и... вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его неперменный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.

– Неужели, господа? – заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. – Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!

– Подите же вот... – вздохнул становой.

– Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!

– Подите же вот... – вздохнул еще раз становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.

– Расступись! – крикнул урядник народу.

Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

– Прошу, господа, лишних удалиться! – сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. – Прошу это в интересах следствия... Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатипеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.

– Мерзавцы! – пробормотал он, сжимая кулаки.

– А где же Марк Иваныч? – тихо спросил Дюковский.

– Прошу вас не вмешиваться! – грубо сказал ему Чубиков. – Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, – обратился он к становому, понизив голос. – В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните... Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно...

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

– Отворяется, значит, не было заперто... Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена... Кто-то лез оттуда... Нужно будет как следует осмотреть окно.

– На полу ничего особенного не заметно, – сказал Дюковский. – Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общегитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой...

– Ах... замолчите, пожалуйста! – махнул рукой следователь. – Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отпартовал:

– Ни кровяных, ни каких-либо других пятен... Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло обито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же... Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.

– Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше...

– Один сапог здесь, другого же нет налицо.

– Ну, так что же?

– А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как...

– Понес!.. И почему вы знаете, что его задушили?

– На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина.

– Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться... Это я и без вас сделаю.

Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.

– Какого цвета был его последний костюм? – спросил Дюковский у Псекова.

– Желтый, парусиновый.

– Отлично. Они, значит, были в синем.

Несколько головок репейника было срезано и старательно завернуто в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:

– А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!

Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.

– Это давнишняя кровь! – сказал Дюковский, осматривая пятна.

Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.

– Да, кровь, – пробормотал он.

– Значит, не задушен, коли кровь! – сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.

– В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.

– Ну, а сапог?

– Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся...

– Сообразительность, посмотришь! – усмехнулся Чубиков. – Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью!

По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.

– Часы, деньги и прочее... все цело, – начал разговор Чубиков. – Как дважды два – четыре, убийство совершено не с корыстными целями.

– Совершено человеком интеллигентным, – вставил Дюковский.



– Из чего же это вы заключаете?

– К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют эти спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это.

– К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?

– Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал.

– Нечего выдумывать! Ешьте лучше!

– А по моему понятию, ваше высокоблагородие, – сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, – пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка.

– Весьма возможно, – сказал Псеков.

– А кто этот Николашка?

– Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, – отвечал Ефрем. – Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелью... Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки все вышло, из-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он... известно, осерчал... На кухне пьяный валяется теперь. Плачет... Врет, что барина жалко...

– А действительно, из-за Акульки можно осерчать, – сказал Псеков. – Она солдатка, баба, но... Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное...

– Видал... Знаю... – сказал следователь, сморкаясь в красный платок.

Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.

– Где барин? – спросил его Чубиков.

– Убили, ваше высокоблагородие.

Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.

– Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?

– Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.

– Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне... Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть?

Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.

– Не могу знать, ваше высокоблагородие, – сказал он. – Был выпимши и не помню.

– Alibi! – шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.

– Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь?

Николашка задрал вверх голову и задумался.

– Скорей думай! – сказал исправник.

– Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побегит... От этого самого и кровь.

Ефрем показал, что, действительно, Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.

– Alibi, – усмехнулся Дюковский. – И какое дурацкое alibi!

– С Акулькой знавался?

– Был грех.

– А барин у тебя сманил ее?

– Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Песков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.

Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова.

– Ступай! – сказал он Николашке. – А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?

– Да, в десять часов я ужинал с Марком Ивановичем.

– А потом?

Псеков смутился и встал из-за стола.

– Потом... потом... Право, не помню, – забормотал он. – Я много выпил тогда... Не помню, где и когда уснул... Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!

– Где вы проснулись?

– Проснулся в людской кухне на печи... Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю...

– Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали?

– Ничего нет тут особенного...

– От вас она перешла к Кляузову?

– Да... Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?

Наступило молчание – тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.

– Нужно будет, – сказал он, – сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.

Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.

– Приношу, прежде всего, извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, – начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. – Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением...

– Ах, не спрашивайте меня! – сказала Марья Ивановна, еще более бледнее и закрывая лицо руками. – Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего... Что я могу? Ах, нет, нет... ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.

– Чертова баба! – выругался Дюковский, выходя из большого дома. – По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано... Пойдите же, черти! Все разберем!

Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил:

– Что Николашка причастен в этом деле, – сказал он, – поп *dubitandum est*<sup>35</sup>. И по роже его видно, что он за штука... *Alibi* выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежание на печи от страха после убийства, *alibi* и Акулька.

– Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, – значит, и вы участник в этом деле?

– У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но... я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве... Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли... Мстить захотелось. Потом-с... Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью – несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом... Душил кто-то третий, но кто он?

Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому следователя.

– Эврика! – сказал он, входя в домик и снимая пальто. – Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий?

– Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать!

Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:

– Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Песковым и душивший, – была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!

Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.

– Вы... не тово? Голова у вас... не тово? Не болит?

– Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки – хорошо! ладно! – так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник... Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!

– Ну, так что же?

– Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста – ив этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!

Чубиков замотал головой и нахмурился.

– Мы и сами умеем трудные дела разбирать, – сказал он. – А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, – вот ваше дело!

Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.

---

<sup>35</sup> Нет сомнения (*лат.*).

– Умница, шельма! – пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. – Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить...

На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.

– Был я выпимши, – сказал он. – До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я... глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» – крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли!

В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.

## II

Прошло двенадцать дней.

Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.

– Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, – говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. – Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?

– Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то... Улик настоящих нет, а все какая-то философия... Фанатизм, то да се...

– А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное... Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.

– О чем это вы?

– Про шведскую спичку-с... Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать...

– Ну, ладно, садитесь... Давайте допрос делать.

Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.

– Ввести Николая Тетехова! – крикнул следователь.

Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал.

– Тетехов! – начал Чубиков. – В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму... Нам все известно...

На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.

– Ввести Псекова! – приказал следователь.

Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.

– Садитесь, Псеков, – сказал Чубиков. – Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благо-разумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам...

– Ничего я не знаю... И улик ваших не знаю, – прошептал Псеков.

– Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, Другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее. Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его... Перенесли через плетень... Потом пошли по дороге... Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?

Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался.

– Мне душно! – сказал он. – Хорошо... пусть... Только я выйду... пожалуйста.

Псекова вывели.

– Наконец-таки сознался! – сладко потянулся Чубиков. – Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал...

– И женщину в черном не отрицает! – засмеялся Дюковский. – Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.

Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает...

– Жила я только с вами, а больше ни с кем! – сказала она.

В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.

– Veni, vidi, vici!<sup>36</sup> – сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. – Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое... не так ли? Я нашел четвертого или, вернее – четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но... слушайте... Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет... Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то... «Пондравилось ей... пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уффф... Ну, едем!

– Куда это?

– К ней, к четвертой... Поспешить нужно, иначе... иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна – вот кто! Она купила ту коробку спичек!

– Вы... ты... вы... с ума сошел?

<sup>36</sup> Пришел, увидел, победил! (лат.)

– Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте... Скорее, а то уже темнеет... Поедемте!

– Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!

– Благородная, честная... Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!

Следователь махнул рукой и плюнул.

– Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!

Дюковский стал на колени.

– Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!

Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.

– Ну, черт с тобой! – сказал он. – Едем.

Было уже темно, когда шарaban следователя подкатил к крыльцу станового.

– Какие мы свиньи! – сказал Чубиков, берясь за звонок. – Беспокоим людей.

– Ничего, ничего... Не робейте... Скажем, что у нас рессора лопнула.

Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

– Ах... очень приятно! – сказала она, улыбаясь во все лицо. – Как раз к ужину успели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома... У попа засиделся... Но мы и без него обойдемся... Садитесь! Вы это со следствия?..

– Да-с... У нас, знаете ли, рессора лопнула, – начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

– Вы сразу... ошеломите! – шепнул ему Дюковский. – Ошеломите!

– Рессора... Мм... да... Взяли и заехали.

– Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канитель будет!

– Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! – пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. – Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

– Да, рессора... – начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. – Мы заехали не для того, чтобы... эээ... ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?

– Что? Какой Марк Иваныч? – залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. – Я... не понимаю.

– Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам все известно!

– Через кого? – спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

– Извольте указать нам – где он!?

– Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?

– Нам все известно-с! Я требую именем закона!

Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:

– Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы...

– На что он вам?

– К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены... Да, он убит, и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!

Становиха побледнела.

– Пойдемте, – сказала она тихо, ломая руки. – Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями – маленький домик с покрякивающей трубой.

– Это баня, – сказала становиха. – Но умоляю вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.

– Приготовьте огарок и спички! – шепнул следователь своему помощнику.

Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.

– Дальше!

Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыл с водкой, тарелки, ножи, вилки.

– Но где же... этот? Где убитый? – спросил следователь.

– Он на верхней полочке! – прошептала становиха, все еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп...

– Нас морочат, черт возьми! – закричал Дюковский.

– Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, черт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.

– Кто это лезет? – спросил охрипший, тяжелый бас. – Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.

– Вы... Марк... Иваныч?! Не может быть! – Следователь взглянул наверх и замер...

– Это я, да... А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.

– Какими путями? Выпьем, черт возьми! Тра-та-ти-то-том... Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, все равно! Выпьем!

Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.

– То есть, я тебя не понимаю, – сказал следователь, разводя руками. – Ты это или не ты?

– Будет тебе... Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту... Чего смотрите? Пейте!

– Все-таки я не могу понять, – сказал следователь, машинально выпивая водку. – Зачем ты здесь?

– Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.

– Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовый какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником... Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда... Уж надоело...

– Непостижимо! – сказал Дюковский.

– Что же тут непостижимого?

– Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?

– Какой сапог?

– Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.

– А вам для чего это знать? Не ваше дело... Да пейте же, черт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе... Она приходит под окно и начинает ругаться... Знаешь, как бабы... вообще... Я, спяна, возьми да и пусти в нее сапогом... Ха-ха... Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздупа, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь... Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».

– Дела-то какие на белом свете! – сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. – Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом...

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.

– Скелет чертов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, – обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, – а тебе... во веки веков не забуду!

– Но... шведская спичка ведь! Мог ли я знать!

– Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.

– Пойду запью! – решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.

Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостинной.

– Зачем следователь приезжал? – спросил муж.

– Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, поднимая вверх глаза. – Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, – не слушался!



## Отставной раб

– Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага... Бежала она по полю изгибами, вертикулясами такими, как поломанная... Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает... Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там вербы...

Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром... Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица, Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.

Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было все ее бледное востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала – с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты – на личность покойного барина, князя Свинцова.

– Знаменитый был человек! – рассказывал он про князя. – Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был донжуан-с.

– А что значит донжуан?

– Это обозначает, что он до женского пола большой донжуан был. Любил вашего брата. Все свое состояние на женский пол провалил. Да-с... А когда мы в Москве жили, у нас в грандате почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи имели и дитя-тю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь все свое состояние в штосс проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая... Год с ним попуталась и померла... А как женщины любили его, Танечка! Как любили! Жить без него не могли!

– Он был красив?

– Какой... Старый был, некрасивый... Вот и вы бы, Танечка, ему понравились... Он любил таких худеньких, бледненьких... Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с...

Потом Никифор Филимоныч принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов... Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина.

– А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.

Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей... Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, а зимой – в санях с теплой полостью, в санях, которые летят как молния.

– Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит... Чудно-с!

Долго рассказывал таким образом Никифор Филимоныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.

В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Через полтора года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала... Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.

– Ну, дай бог ей... – прошептал он. – Она хорошая.  
И, надевши шапку, он тихо засмеялся.

## Осенью

Время было близко к ночи.

В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.

Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фыркание лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно.

За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий мордастый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед ним по сю сторону прилавка стоял человек лет сорока, одетый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую ногу. Голова, руки, заложенные в карманы, и худые, колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка по всему исхудалому телу, начиная с страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога.

– Дай Христа ради! – просил он Тихона разбитым, дребезжащим тенором. – Рюмочку... вот эту, маленькую. В долг ведь!

– Ладно... Много вас шляется тут, прохвостов!

Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было!

– Пойми ты, дура ты этакая, невежа! Не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! Болезнь моя просит! Пойми!

– Нечего нам понимать. Отходи...

– Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я бог знает что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда; неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные! На цепь их посади, бей, режь, а водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! Унижаюсь... Боже мой, как я унижаюсь!

Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.

– Деньги давай, тогда и водка будет! – сказал Тихон.

– Где же мне взять денег? Все пропито! Все дотла! Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, потому что оно на голом теле... Хочешь шапку?

Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой.

– И даром не надо... – сказал он. – Навоз...

– Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком! Подавись!

– Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел?

– Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет! Пойми!

– Чего беспокоишь? Много вас, шельмованных, по большой дороге шатается! Ступай вон проси православных, пускай угощают тебя Христа ради, коли желают, а я Христа ради только хлеб подаю. Сволочь!

– Дери ты с них, бедняков, а я уж... извини! Не мне их обирать! Не мне!

Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам:

– А ведь это идея, православные! Пожертвуйте пятачишку! Нутро просит! Болен!

– Водицы выпей, – усмехнулся малый с рябым лицом.

Прохвосту стало совестно. Он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его слез, а пальто не приняли, потому что в кабаке были богомолки, которые не пожелали видеть мужскую наготу.

– Что же мне теперь делать? – спросил тихо прохвост голосом, полным отчаяния. – Что же делать? Не выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или на самоубийство решусь... Что же делать?

Он прошелся по кабаку.

Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше.

– Я тебе дам одну золотую вещь, – обратился прохвост к Тихону, ставши вдруг бледным, как полотно. – Изволь, я тебе дам. Так и быть... Хотя это подло, мерзко с моей стороны, но возьми... Я сделаю эту гадость, будучи невменяем... И на суде бы меня оправдали... Возьми, но только с условием: возвратить мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидетелях...

Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и мельком взглянул на портрет.

– Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его положить: я весь мокрый. Черт с тобой, грабь с портретом. Только с условием... Голубчик мой, дорогой... я прошу... Ты пальцами не трогай за это лицо... Умоляю, голубчик! Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил... Я глуп... Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо...

Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман.

– Краденые часики, – сказал он, наливая стакан. – Ну ладно... пей...

Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных, мутных глаз, и выпил... выпил с чувством, с судорожной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примостился на скамье возле богомолки, съежился и закрыл глаза.

Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Богомолки стали молиться богу и бесшумно располагаться под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку, улыбающуюся из золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам.

На дворе скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи... В кабак вбежал маленький мужичок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был мокр и грязен.

– Ну-кася! – крикнул он, стуча пятаком о прилавок. – Стакан мадеры настоящей! Наливай!

И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул взглядом всю компанию.

– Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! Дождя испугались, ахиды! Нежные! А это что за изюмина?

Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо.

– Вот туды! Барин! – сказал он. – Семен Сергеич! Господа наши! А? С какой такой стати вы в этом кабаке прохладаетесь? Нешто вам здесь место? Эх... мученик несчастный!

Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаянно махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку.

– Это наш барин, – шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста. – Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, каков? На какого человека похож теперь? А? То-то вот... пьянство до какой степени...

Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал:

– Я из его деревни. За четыреста верст отседа, из Ахтиловки... Крепостными у его отца были... Этакая жалость, брат! Этакая жалость! Славный такой господин был... Вон она, лошадка-то на дворе! Видишь? Это он мне на лошадку дал! Ха-ха! Судьба!

Через десять минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим, нервным тенорком, под шумок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал.

– Все это из одного малодушества вышло, – рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. – С жиру... Господин он был богатый, большой, на всю, значит, губернию... Ешь, пей – не хочу! Сами, небось, видали... Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был... Помню, лет пять тому назад едет через Микишкинский паром и вместо пятака рупь выкидывает... Из-за пустяшного предмета разоренье его началось. Первое дело – из-за бабы. Полюбил он, сердешный, одну городскую... Пуще жизни. Полюбилась ворона пуще ясна сокола... Марьей Егоровной, подлая, прозывалась, а фамилия такая чудная, что и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, как это по-божецки требуется. А она, известно, согласие дала, потому – барин он не из пустяшных, тверезый и при деньгах... Прохожу я однажды вечерком, помню это, через ихний сад; смотрю, а они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, она, змея, его – два. Он ее за белу ручку, а она – вспых! так и жметя к ему, чтоб ей шут!.. Люблю говорит тебя, Сеня... А Сеня, как окаянный человек, ходит везде и счастьем похваляется сдуру... Тому рупь, тому два... Мне вот на лошадь дал... Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе... Повенчались, как следует... В самый раз, когда господам за ужин садиться, она возьми да и убеги в карете... В город к аблакату бежала, к полюбовнику. После венца-то, шкура! А? В самый настоящий момент! А? Очумел с той поры, запил... Вот как, видишь... Ходит, как шальной, и об ней, шкуре, думает. Любит! Должно, идет теперь пешком в город на нее одним глазочком взглянуть... Второе дело, братцы, откуда разоренье пошло, – зять, сестрин муж... Вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться... тысяч на тридцать... Зять, известно, знает, шельма, свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать тысяч... Глупый человек за глупость и муки терпит... Жена со своим аблакатом детей прижила, зять около Полтавы именье купил, а наш ходит, как дурак, по кабакам да к нашему брату мужику с жалобой лезет: «Потерял я, братцы, веру! Не в кого мне теперь, это самое, верить!» Малодушество! У всякого человека свое горе бывает, так и пить, значит? Вот у нас, к примеру зять, старшина. Жена к себе учителя среди бела дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а старшина ходит себе да усмешки на лице делает... Поосунулся только малость...

– Кому какую бог силу дал... – вздохнул Тихон.

– Сила разная бывает – это правильно.

Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина.

– Эй, ты... как вас?.. несчастный человек! Иди, выпей! – сказал Тихон, обращаясь к барину.

Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню...

– Дай мне на минутку медальон! – шепнул он Тихону. – Посмотрю только и... отдам...

Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рябым лицом вздохнул, pokrutil головой и потребовал водки.

– Выпей, барин! Эх! Без водки хорошо, а с водкой еще лучше! При водке и горе не горе! Валяй!

Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать дорогое лицо... Но лица уже не было... Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного Тихона.

Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух помолился богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал... А дождь лил и лил... Холод становился все сильнее и сильнее, и, казалось, конца не будет этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами в медальон и все искал женское лицо... Тухла свеча.

Весна, где ты?

## Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафана, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафана! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?

– Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговицы своего мундира...

– Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте... Что вы-с... – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

## Клевета

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.

– Покажи-ка мне, матушка, осетра! – сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. – Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.

– Ба! Звук горячего поцелуя... Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? – послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников, Ванькина. – С кем это ты? А-а-а... очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!

– Я вовсе не целуюсь, – сконфузился Ахинеев, – кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово... губами чмокнул в отношении... в рассуждении удовольствия... При виде рыбы...

– Рассказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.

«Черт знает что! – подумал он. – Пойдет теперь, мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, скотина...»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.

«Это про меня! – подумал Ахинеев. – Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит... и верит! Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить... нет... Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили... Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.

– Сейчас я в кухне был и насчет ужина распорядился, – сказал он французу. – Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе... Да, кстати... чуть было не забыл... В кухне-то сейчас, с осетром с этим – сущий анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть... Гляжу на осетра и от удовольствия... от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит... ха-ха-ха... и говорит: «А-а-а... вы



целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он... целоваться! Чудак!

– Кто чудак? – спросил подошедший Тарантулов.

– Да вон тот. Ванькин! Вхожу, это, я в кухню...

И он рассказал про Ванькина.

– Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой, – прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду.

– Мы насчет Ванькина, – сказал он ему. – Чудачина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Марфой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьянато ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!

– Кто вас насмешил? – спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.

– Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу...

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! – думал Ахинеев, потирая руки. – Пусть! Он начнет рассказывать, а ему сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам все известно!»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.

– Вот что, Сергей Капитоныч, – сказал директор. – Вы извините... Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять... Моя обязанность... Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой... с кухаркой... Не мое это дело, но... Живите с ней, целуйтесь... что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем... Дома ожидала его новая беда.

– Ты что же это ничего не трескаешь? – спросила его за обедом жена. – О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Все мне, махамет, известно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у... вварвар!

И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.

– Подлец ты! – обратился Ахинеев к Ванькину. – За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?

– Какую клевету? Что вы выдумываете!

– А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?

Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:

– Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне ни дна, ни крыши! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.

«Но кто же? Кто? – задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. – Кто же?»

– Кто же? – спросим и мы читателя...

## В Рождественскую ночь

Молодая женщина лет двадцати трех, с страшно бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела в даль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.

Женщина глядела в даль, где зиял простор, залитый глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни звезд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шел сильный дождь...

«Что там?» – думала женщина, вглядываясь в даль и кутаясь от ветра и дождя в измокшую шубейку и шаль.

Где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за пять – за десять или даже больше, должен быть в это время ее муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. Успеют ли их рыбацьи сани с безобразными крыльями, тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, чем бледная женщина услышит рев проснувшегося моря?

Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перило задвигалось под ее рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло из ее рук, как выюн. Она присела на ступени и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодные грязные ступени. Рванул ветер и распахнул ее шубу. Эта грудь пахнуло сыростью.

– Святой чудотворец Николай, этой лестнице и конца не будет! – шептала молодая женщина, перебирая ступени.

В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть.

Через десять минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер здесь стал еще злее, чем наверху. Дождь лил, и, казалось, конца ему не было.

– Кто идет? – послышался мужской голос.

– Это я, Денис...

Денис, высокий плотный старик с большой седой бородой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.

– Это вы, барыня Наталья Сергеевна? – спросил он недоумевающим голосом. – В этакое ненастье?! И что вам тут делать? При вашей комплекции после родов простуда – первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой.

– Жила ты, старуха, – сказал он в пространство, – семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Ведь на все, дура ты, воля божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть! Иди отсюда с богом!

– Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка!

– Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пуцай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков Алешка.

– А они живы, Денисушка? – спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом.

– А кто ж их знает, барыня! Ежели вчера и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер. Словно нанялся, бог с ним!

– Кто-то идет по льду! – сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад.

Денис прищурил глаза и прислушался.

– Нет, барыня, никто нейдет, – сказал он. – Это в лодке дурачок Петруша сидит и веслами двигает. Петруша! – крикнул Денис. – Сидишь?

– Сиж, дед! – послышался слабый, больной голос.

– Больно?

– Больно, дед! Силы моей нету!

На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за весла, а левая нога была подогнута под туловище.

– Болеет наш дурачок! – сказал Денис, подходя к лодке. – Нога у него болит, у сердешного. И рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошел! Здесь еще хуже простудишься...

Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв.

– Поди, Петруша! – сказал Денис мягким, отеческим голосом. – Приляг на печку, а бог даст, к утрени и уймется нога!

– Чую! – пробормотал Петруша, разжав челюсти.

– Что ты чуешь, дурачок?

– Лед взломало.

– Откуда ты чуешь?

– Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой от воды. И ветер другой стал: помягче. Верст за десять отседа уж ломает.

Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя.

Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал свое дело. Он становился все злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дождь между тем становился все слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбацкой деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон, – соломинка, за которую хватается утопающий.

– Дед, вода уж близко! Слышишь?

Дед прислушался. На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество.

– Кончено! – сказал Денис. – Ломает!

Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала зловещий гул.

– Может быть, это ветер! – сказала она. – Ты убежден, Денис, что это лед ломает?

– Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня...

Денис вздохнул и добавил нежным голосом:

– Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли!

И люди, стоявшие на берегу, слышали тихий смех, смех детский, счастливый... Смеялась бледная женщина. Денис крикнул. Он всегда кричал, когда ему хотелось плакать.

– Тронулась в уме-то! – шепнул он темному силуэту мужика.

В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь все было видно: и море с наполовину истаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки.

Раздался первый явственный треск недалеко от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь.

Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон – все умолкло за ревом моря.

– Надо уходить наверх! – крикнул Денис. – Сейчас берег zalъет и занесет кригами. Да и утренняя сейчас начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно!

Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно взял ее под локти...

– Пойдемте, матушка! – сказал он нежно, голосом, полным сострадания.

Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде... Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу...

Ступив на третью ступень, она остановилась как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке...

– Это я, Наташа... Не бойся! – сказал мужчина.

Наталья Сергеевна пошатнулась. В высокой мерлушковой шапке, черных усах и черных глазах она узнала своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял ее на руки и поцеловал в щеку, причем обдал ее парами хереса и коньяка. Он был слегка пьян.

– Радуйся, Наташа! – сказал он. – Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрал до Таганрога, откуда вот и приехал к тебе... и приехал...

Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными глазами. Она не верила...

– Как ты измокла, как дрожишь! – прошептал он, прижимая ее к груди...

И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски добрая улыбка... Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья...

Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рев моря, ни ветер – ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искаженным отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось все: и замужество поневоле, и непреодолимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, не заглушенном даже трещащими льдинами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его...

– Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом! – пробормотал он.

Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену наземь.

– Пусть будет по-твоему! – сказал он.

И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду.

– Куда ты? – спросил его Литвинов.

– Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть хочу... Покойникам не больно...

Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.

– Прощай, Наташа! – крикнул помещик. – Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на холоде! С богом!

Дурачок взмахнул веслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстречу высоким волнам.

– Гребь, Петруша, гребь! – говорил Литвинов. – Дальше, дальше!

Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, исчез наконец берег...

– Воротись! – услышал он женский надорванный голос.

И в этом «воротись», казалось ему, слышалось отчаяние.

– Воротись!

У Литвинова забилося сердце... Его звала жена; а тут еще на берегу в церкви зазвонили к рождественской заутрене.

– Воротись! – повторил с мольбой тот же голос.

Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил: «Воротись».

– Едем назад! – сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав.

Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждою в даль, он работал своими длинными руками... Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, начавшаяся сызмальства, делалась все острее и жгучей... Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко было оторвать их от весел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли...

До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнеможенную от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы ее все еще продолжали шептать: «Воротись!»

В ночь под Рождество она полюбила своего мужа...

## Орден

Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.

– Видишь ли, в чем дело, Гриша, – сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. – Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери... Настя, знаешь, и Зина... Говорю, как другу... Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!

Все это проговорил Пустяков заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! – думал учитель, покрывая. – Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурур производит!»

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплываться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.

– Кто это там звонит? – послышался голос хозяина. – Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не беда... Сейчас только сели.

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден – значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться... Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!» – подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо.

Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.

– Я уже покушал-с... Мерси-с... – пробормотал он. – Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня... тово... пообедать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.

«Заметят... И через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире уже пообедаю!»

После третьего блюда он робко, одним глазком поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.

«Заметил, подлец! – подумал Пустяков. – По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляззник. Завтра же донесет директору!»

Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и пятое...

Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил:

– Э-э-э... эп... эп... эпредлагаю эвыпить за процветание сидящих здесь дам!

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку.

– Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! – обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. – Заставьте ее выпить!

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз...

– Юлий Августович! – обратился к французу хозяин. – Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и... о, счастье! Пустяков увидел на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна! Значит, и француз сжульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился... Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить...

– А-а-а... гм!.. – промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.

– Да-с! – сказал Пустяков. – Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Удивительное дело!

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени.

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.

«Знай я такую штуку, – думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, – я бы Владимира нацепил. Эх, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.

## Комик

Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании...

– Ску-ка! – зевнула ingénue Марья Андреевна. – Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Несносный вы, право...

– Гм... Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко... Скажешь вам спроста, без деликатесов... по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех поднимете... Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от зла...

«О чем же это он собирается говорить? – подумала ingénue. – Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу... Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм... Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал... Перебесились все от скуки!»

Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады.

– Тэк-ссс... Хочется сказать, а боюсь... неловко... Вам скажешь спроста, по-русски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се... Знаем вас... Лучше уж молчать...

«А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? – продолжала думать ingénue. – Он добрый, славный такой, талантливый, но... мне не нравится. Некрасив уж больно... Сгорбившись ходит, и на лице какие-то волдыри... Голос хриплый... И к тому же эти манеры... Нет, никогда!»

Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету.

Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.

– Господи... хоть бы мухи были! – проворчал он. – Все-таки веселей...

«Впрочем, у него глаза недурны, – продолжала думать ingénue. – Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум... Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним... ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул... Ожег! И чего он робеет, не понимаю!»

Комик тяжело вздохнул и крикнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону... На лице его выразалось страдание...

«Пожалуй, с ним и так жить можно, – не переставала думать ingénue. – Содержание он получает хорошее... Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!»

– Нет! Не могу! – закричал комик, поднимаясь и бросая газету. – Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!

– Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!

– Матушка! Голубушка! Простите великодушно... ручку целую коленопреклоненно...

На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.

– Да говорите... противный! Что такое?

– Нет ли у вас, голубушка... рюмочки водочки? Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!

Ingénue покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки... Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.



## Репетитор

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

– Ну-с... – начинает Зиберов, закуривая папиросу. – Вам задано четвертое склонение. Склоняйте *fructus*!

Петя начинает склонять.

– Опять вы не выучили! – говорит Зиберов, вставая. – В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?

– Опять не выучил? – слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов. – Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчера порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовывать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад – так опротивел ему этот Петя!

– Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от *mens filius*?<sup>37</sup>

– От *mens filius*? *Meus filius* будет... это будет...

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

– А как будет дательный множественного от *dea*?<sup>38</sup>

– *Deabus... filiabus*! – отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

– А еще какое существительное имеет в дательном *abus*? – спрашивает он.

Оказывается, что и «*anima* – душа» имеет в дательном *abus*, чего нет в Кюнере.

– Звучный язык латинский! – замечает Удодов. – Алон... трон... бонус... антропос... Премудрость! И все ведь это нужно! – говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься... – думает Зиберов. – Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» – Ну-с, – обращается он к Пете. – К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

– «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

– Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

---

<sup>37</sup> Мой сын (лат.).

<sup>38</sup> Богиня (лат.).

«Странно... – думает он, ероша волосы и краснея. – Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая»...

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.

«Гм!., странно... Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

– Решайте же! – говорит он Пете.

– Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! – говорит Удодов Пете. – Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

– Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, – говорит он. – Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил... понимаете? Теперь, вот, надо вычесть... понимаете? Или, вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... Подумайте...

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.

– И без алгебры решить можно, – говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. – Вот, извольте видеть...

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

– В от-с... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью – целая вечность!

– Теперь диктант.

После диктанта – география, за географией – закон божий, потом русский язык, – много на этом свете наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берет за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

– Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? – просит он робко. – Завтра мне нужно вносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

– Я? Ах, да, да... – бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. – С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку... или через две...

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.

## Певчие

С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иванович. Когда он прибудет, – неизвестно.

– Яко тать в нощи, – говорит отец Кузьма, маленький, седенький попик в лиловой ряске. – А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты тово... постарайся, Алексей Алексеич... Сердечно прошу...

– Мне-то что! – говорит Алексей Алексеич, хмурясь. – Я свое дело сделаю. Аишь бы только мой враг ектению в тон читал. А то ведь он назло...

– Ну, ну... я умолю дьякона... умолю...

Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефремовской Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич – высокий, плотный мужчина с солидной походкой и бритым жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал владыке земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение.

Ввиду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как любитель.

Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.

– То-то-ти-то-том... До-ми-с оль-до!

– Аааа-минь!

– Адажьо... адажьо... Еще раз...

После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектении. Все это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Все тихо, ничего интересного... Но перед «Херувимской» весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.

– Становитесь. Глядите в ноты получше... Басы, не напирайте... помягче...

Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич тихо опускает руку.

– Пиано... пиано... Ведь там «пиано» написано... Легче, легче!

– ...ви-ти-мы...

Когда нужно петь *piano*, на лице Алексея Алексеича разлита доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит.

– Форте... форте! Напирайте!

И когда нужно петь *forte*, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас.

«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами останавливается народ. Входит в класс сторож Василий, в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом... После «отложим попечение» Алексей Алексеич вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.

– Недоумеваю, отец Кузьма! – говорит он, пожимая плечами. – Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли? – обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату кабагчика.

– А что?

– На что у тебя голос похож? Трещит, словно кастрюля. Опять, небось, вчера трахнул за галстук? Так и есть! Из рта, как из кабака... Эээх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же ты певчий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх, ты осел, братец!

– Грех, брат, грех... – бормочет отец Кузьма. – Бог все видит... насквозь...

– Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.

– Не раздражайся, не раздражайся... – говорит отец Кузьма. – Не сердись... Я его умолю. Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его умолять:

– Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него тово... нежная.

Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему речь.

После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько – и так до «Отче наш».

– А по-моему, отец Кузьма, – говорит регент, – простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при графе.

– Нет, нет... Пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходючи, кроме нотного ничего... Небось, там в капеллах... Там, брат, еще и не такие ноты!..

После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи: «Кто бог велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами...

– Форте! – бормочет он. – Анданте! Разжимайте... разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том... Соль... си... соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве... ве... лий...

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.

После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию, усматривает диакона Авдисова. Диакон, высокий, плотный мужчина, с красным рябым лицом и с соломой в волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.

– Ладно, пой! Выводи ноты! – бормочет он густым басом. – Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по нотам пой, хоть без нот... Потому – атеист...

Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.

– Ну, ну... – шепчет он. – Молчи, диакон. Молю...

После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день.

Проходит месяц, другой...

Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот наконец с господских окон снимаются запыленные жалюзи и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от испуга ли... Диакон ходит и ухмыляется.

В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк.

– Был сейчас у его сиятельства, – говорит он, заикаясь, регенту. – Образованный господин, с деликатными понятиями... Но, тово... обидно, брат... В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете... Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче... без певчих». Без певчих! Тово, понимаешь... без певчих...

Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз простоять два часа на коленях, чем эти-кие слова слышать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдiesов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдiesов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексеич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:

– Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв красненькую на хор даст!

После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный Авдiesов.

– Постой, Алеша, – говорит диакон. – Постой, дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!

И враги, взявшись под руки, идут в ворота...

## Трифон

*«И не жаль мне прошлого ничуть».*  
*Лермонтов.*

У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочался в постели.

– Настюша! – зашептал он, – возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спину!

Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста.

«Где же она?» – подумал он. – Настя! Настенька!

И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи – время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся и вышел на двор.

Луна, полная и солидная, как генеральская экономка, плыла по небу и заливала своим хорошим светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий... На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувствовался конец марта, начало весны. Щеглов окинул глазами двор. На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погребца.

«А вдруг она в деревню ушла! – думал Григорий Семеныч, дрожа от беспокойства и холода. – Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать».

Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни.

«Я старый, дряхлый... – думал Григорий Семеныч. – Ей не сахар со мной...»

Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но этот голос не пел, а говорил... Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался...

– Брось ты этого старого черта! – перебил женскую речь грубый мужской голос. – Сделай милость! В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит... Эххх... Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!

– Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, ушла бы я от него за сто верст, а то ведь... тятка, вон, избу строить хочет... да брат на службе. Табаку послать или что...

Послышались всхлипывания, затем поцелуи. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.

«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, можно сказать, облагодетельствовал, – ужаснулся он, – вместо как бы жены, и вдруг – с Тришкой, с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как барыню, а она... с Тришкой!»

У старика от гнева и с горя подогнулись колени. Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом.

«А мне наплевать! – думал он, ложась в постель. – Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу! Ну, нет... Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со своими мужиками макину жует. А Тришку-подлеца... чтоб и духу не было! Утром же расчет...»

Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и, как ни в чем не бывало, улеглась спать, его от мыслей бросило в лихорадку.

«Завтра же его прогоню... Впрочем, нет... не прогоню... Его прогонишь, а он на другое место – и ничего себе, словно и не виноват... Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил... Выпороть бы, как прежде... Разложить бы в конюшне и этак... в десять рук, семо и овамо... Ты его порешишь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь: «Так его! шибче! шибче!» Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице: – Ну, что, матушка? Ааа... то-то!»

Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно.

«Я ей ничего не скажу, – думал он. – Пусть сама поймет... Я ее нравственно... нравственно страдать заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду, а она и поймет... Ну, а что, ежели она послушает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»

Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал:

– Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!

В девятом часу приходил с докладом объездчик Трифон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством.

«Мало прогнать... – подумал он, измеряя его взглядом. – Выпороть бы». – Ничего я тут не пойму! – начал он придирается, пробегая квитанции, поданные Трифоном. – Это какая цифра? 75 или 15? Дубина ты этакая! Закорючку не можешь даже, как следует, над семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один – на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду-би-на... За это самое вашего брата прежде на конюшне драли!

– Мало ли чего прежде не было... – проворчал Трифон, глядя в потолок.

Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством...

– Пошел вон!! – взвизгнул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии.

До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебивали в его голове, но что он ни придумывал, все подходило под ту или другую статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления оказалось, что он ничего не смел...

В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с бариним:

– Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак – и душа вон.

Щеглов не вынес.

– Кого это, прохвост? – взвизгнул он. – Чья душа вон?

В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо крикнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк.

– Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!.. – сказал он, увидев барина. – Вот кто!

Минута прошла в молчании...

– За это прежде нашего брата на конюшне пороли, а теперь не знаю, что будет... – сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну. – Чай, расчет дадут... Боязно!

Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засеменил рядом с ним.

– Трифон! – забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке. – Триша! Я тебе одно только слово скажу... Пстой! Я ведь ничего... Слово одно только... Послушай! Прошу и умоляю тебя, подлеца, на старости лет! Голубчик!

– Ну?

– Видишь ли... Я тебе четвертную дам и даже, ежели желаешь, жалованья прибавлю... Тридцать рублей дам, а ты... дай я тебя выпорю! Разик! Разик выпорю и больше ничего!

Трифон подумал немного, взглянул на луну и махнул рукой.

– Не согласен! – сказал он и поплелся в людскую...

## Дачница

Леля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющая вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в десяти шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой... Кругом тишина... Леля думает... Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что, право, неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем.

Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама m-lle Морсеау, забитое, больное и ужасно недалекое создание с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила выпускных в фотографию сниматься.

– Ах, умоляю вас, – просила она конторщицу в фотографии, – не показывайте им карточек мужчин!

Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Морсеау, но, пропитанные насквозь «идеалами», они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев-вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники... Гляди на эту кишашую толпу и выбирай!

В частности, Леля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории – древней, средней и новой...

В этом мае Леля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он (совестно сознаться перед поэтическим маем!) груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев.

Просыпается он ровно в десять часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует женину руку и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Леля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже вращает судьбами «общества» – неизвестно. В четвертом часу приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит все больше о высоких материях. Решает женский и финансовый вопросы, бранит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам... «Молодежь ужасно измелъчала!» За один обед успеет сотню вопросов решить. Но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом.

– Нет у нас теперь хороших писателей! – вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает – ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лели, Щедрина, нашел, что Щедрин «туманно» пишет.



– Пушкин, *ma chere*<sup>39</sup>, лучше... У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал... помню...

После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась... О чем он думает, неведомо Леле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет все ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнера, ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежащее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп.

– Извозчик! Извозчик! – слышала от него Леля на вторую ночь после свадьбы.

Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе...

Больше ничего не может сказать о нем Леля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех; но ей не легче от этого. Священный ужас *m-lle Morceau* обещал ей больше.

---

<sup>39</sup> Моя дорогая (*франц.*).

## Русский уголь (Правдивая история)

В одно прекрасное апрельское утро русский le comte<sup>40</sup> Тулупов ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с «колбасником». Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно-ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Имбс и упорно не сворачивал с начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле.

– Судьба нашего угля весьма плачевна, – сказал, между прочим, граф, испустив вздох ученого знатока. – Вы не можете себе представить: Петербург и Москва живут английским углем, Россия жжет в печах свои роскошные, девственные леса, а между тем недра нашего юга содержат неисчерпаемые богатства!

Имбс печально покачал головой, досадливо крикнул и потребовал карту России.

Когда лакей принес карту, граф провел ногтем мизинца по берегу Азовского моря, поцарапал тем же ногтем возле Харькова и проговорил:

– Вот здесь... вообще... Понимаете? Весь юг!!.

Имбсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегают наш уголь, но граф не сказал ничего определенного; он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и раз даже, желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русский граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Имбс сказал ему, что в России есть Карпатские горы.

– У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение, – сказал граф. – Восемь тысяч десятин земли. Прекрасное имение! Угля в нем, представьте себе... eine zahllose... eine oceanische Menge!<sup>41</sup> Миллионы в земле зарыты... пропадают даром... Давно уже мечтаю заняться этим вопросом... Подыскиваю случая... подходящего человека. У нас в России нет ведь специалистов! Полное безлюдье!

Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго... Кончилось тем, что граф вскочил вдруг, как ужаленный, хлопнул себя по лбу и сказал:

– Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать, в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете! И какое дело!.. Хотите? Соглашайтесь скорей!

Имбс нахмурился, походил по каюте из угла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие.

Граф пожал ему руку и крикнул шампанского...

– Ну, теперь я покоен, – сказал он. – У меня будет уголь...

Через неделю Имбс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему двести рублей, адрес имения и приказал ехать на юг.

– Езжайте себе и начинайте там... Я, может быть, осенью приеду. Пишите, как и что...

Прибыв в имение Тулупова, Имбс поселился во флигеле и на другой же день после приезда занялся «снабжением России углем». Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли, – писал он после длинного робкого вступления, – и нашел, что, благодаря своему низкому качеству, он не стоит того, чтобы его выкапывали из земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа, углепромышленника Алпатова, заготовлено пятнадцать миллионов пудов, а между тем нет никого, кто бы

---

<sup>40</sup> Граф (франц.).

<sup>41</sup> Бесчисленная... океанская масса! (нем.)

дал ему хотя бы по копейке за пуд. Донецкая Каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля, но, как оказывается, ей за все время своего существования не удалось провезти еще ни одного пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскошью». В конце концов немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fiirsten oder Grafen»<sup>42</sup> или же выслать ему «ein wenig»<sup>43</sup> на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Имбс занялся ужением карасей и ловлей перепелов на дудочку.

Ответ на это письмо получил не Имбс, а управляющий, поляк Дзержинский. «А немцу скажите, что он ни черта не понимает, – писал граф в постскрипуме. – Я показывал его письмо одному горному инженеру (тайному советнику Млееву), и оно возбудило смех. Впрочем, я его не держу. Пусть себе уезжает. Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 руб. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 руб.». Узнав о таком ответе, Имбс ужасно испугался. Он сел и покрыл своим немецким, расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушно за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемый совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 р., но он не отдает мне их, хотя и получил с меня весь мой проигрыш, а потому осмеливаюсь прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Дзержинского уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть даром вашего хлеба». Много воды утекло в море и много карасей и перепелов поймал Имбс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды, в конце июля, в его комнату вошел поляк и, севши на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке.

– Удивительный осел этот граф! – сказал он, хлопая фуражкой о край стола. – Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли? И на чертей ему дался этот уголь! Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, черт его возьми! И вы тоже хороши, нечего сказать! Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили!

– Граф уезжает в Италию? – удивился Имбс, бледнея. – А денег мне прислал? Нет?! Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейки!.. Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский... Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму!

– В России не нужны ваши книги и чертежи.

Имбс сел и задумался. Пока поляк наполнял воздух своею желчью, немец решал свой шкурный вопрос и чувствовал всеми своими немецкими чувствами, как у него портилась в эти минуты кровь. Он похудел, обрюзг, и выражение надменной учености на лице уступило место выражению боли, безнадежности... Сознание безвыходного плена, вдали от рейнских волн и компании горных мастеров, заставило его плакать... Вечером он сидел у окна и глядел на луну... Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили Имбса за сердце... Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за то только, чтобы очутиться в эту ночь дома...

«И здесь светит эта луна, и там она светит, а какая разница!» – думал он.

Всю ночь тосковал Имбс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои «ненужные в России» книги и чертежи в котомку, он выпил натошак воды и ровно в четыре

<sup>42</sup> «Князьям или графам» (нем.).

<sup>43</sup> «Немного» (нем.).

часа утра поплелся пешечком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Харькове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу.

– Дорогой стащили с меня, сонного, сапоги, – рассказывал Имбс своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. – Такова «русская честность»! Но в конце концов нужно отдать ей справедливость: от Славянска до Харькова русский кондуктор провез меня за сорок копеек – деньги, вырученные мною за мою пенковую трубку. Это нечестно, но зато очень дешево!

## Брожение умов (Из летописи одного города)

Земля изображала из себя пекло. Послеобеденное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился... С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытирать.

По большой базарной площади, ввиду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сына отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

– Что вы смотрите, Евпл Серапионыч?

– Скворцы полетели. Гляжу, куда садут. Туча тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать... да ежели... В саду отца протоиерея сели!

– Нисколько, Евпл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет... А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется, у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

– Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели, – продолжал Оптимов. – У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из Протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

– Отец Паисий, надо полагать, на потребу идет, – сказал Почешихин. – Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высь поднебесную, и богомолки, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал и мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик, несший для свалки на площади бочонок испортившихся сельдей.

– Что-то случилось, надо думать, – сказал Почешихин. – Пожар, что ли? Да нет, не видать дыму! Эй, Кузьма! – крикнул он остановившемуся мужику. – Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не расслышали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным.

– Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Черт свинячий!

– Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

– Должно, внутри загорелось!

– Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!

- На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!
- Кого раздавило? Ребята, человека задавили!
- Почему такая толпа? За какой надобностью?
- Человека, ваше высокблагородие, задавило!
- Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!
- Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!
- Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за

Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придет Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А еще тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда же, куда и люди, не повинуются! Смирнов, запиши Парфена!

– Слушаю! И пуровских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши, – это пуровский!

- Пуровских не записывай покуда... Пуров завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почешихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врзался в толпу.

– Пожарные, приготовьсь! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

– Прошу вас не касаться гласности! – вспылil Оптимов. – Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля!

- Пожарные, лей!

- Воды нет, ваше высокоблагородие!

- Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

– Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тетеньку провожать!

- Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли... Съел? Запиши-ка его, черта!

- Карандаш потерялся, ваше высокоблагородие...

Толпа все увеличивалась и увеличивалась... Бог знает, до каких бы размеров она выросла, если бы в трактире Грешкина не вздумали попробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек – это пожарный, ходивший на каланче...

Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, ваше-ство, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благорастворенной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами Того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улики, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь!»

## Экзамен на чин

– Учитель географии Галкин на меня злобу имеет и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамена, – говорил, нервно потирая руки и потя, приемщик X-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. – Не выдержу... Это как бог свят... А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится... Хотя он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дождитесь, – говорю, – очереди, милостивый государь». Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сыниське моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»

Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней X-го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:

– Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!

Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.

Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменуемым впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахатов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.

Проекзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проекзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова...

– Вы где служите? – обратился к нему инспектор.

– Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высочорodie, – проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. – Прослужил двадцать один год, ваше высочорodie, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

– Так-с... Напишите диктант.

Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменуемого на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша холодная вада, кагда хочица пить» и проч.

Но как ни изошрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще»; но ведь все это не грубые ошибки.

– Диктант удовлетворителен, – сказал инспектор.

– Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, – сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, – осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приехавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию, учил и стереометрию... все как есть...

– Стереометрии по программе не полагается.

– Не полагается? А я месяц над ней сидел... Этакая жалость! – вздохнул Фендриков.

– Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География – наука почтальонов.

Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:

– Э... скажите мне, какое правление в Турции?

– Известно какое... Турецкое...

– Гм!., турецкое... Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?

– Я географию Смирнова учил и, извините, не отчетливо выучил... Ганг, это которая река в Индии течет... река эта течет в океан.

– Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Араке? И этого не знаете? Странно... Какой губернии Житомир?

– Тракт 18, место 121.

На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.

– Как перед истинным богом, ваше высокородие, – забормотал он. – Даже отец протоиерей могут подтвердить... Двадцать один год прослужил и теперь это самое, которое... Век буду бога молить...

– Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?

– И арифметику не отчетливо... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Век буду бога молить... С самого Покрова учусь, учусь и... ничего толку... Постарел для умственности... Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить.

На ресницах у Фендрикова повисли слезы.

– Прослужил честно и беспорочно... Говею ежегодно... Даже отец протоиерей могут подтвердить... Будьте великодушны, ваше высокородие.

– Ничего не приготовили?

– Все приготовил-с, но ничего не помню-с... Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!

– Уж и шапку с кокардой себе заказал... – сказал протоиерей Змижежалов и усмехнулся.

– Хорошо, ступайте!.. – сказал инспектор.

Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.

– Экая жалость! – бормотал он. – Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!

– Да что такое? – спросил Пивомедов.

– Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!



## Хирургия

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

– А-а-а... мое вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали?

– С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворах». Сел намедни со старухой чай пить и – ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку – и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

– М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

– Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

– Предрассудок... (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

– Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

– Пустяки... – скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. – Хирургия – пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванов Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

– Ну-с, раскройте рот пошире... – говорит он, подходя с щипцами к дьячку. – Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

– Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

– Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот – раз плюнуть... (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

– Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

– Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

– Отцы... радетели... (Кричит.) Ангелы! Ого-го... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

– Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты – и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

– Тянул! – говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. – Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

– А ты зачем руками хватаешь? – сердится фельдшер. – Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

– Сам ты дура!

– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

– Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тани только долго, а дергай. Ты не тани, а дергай... Сразу!

– Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с такими... очумеешь! Раскрой рот... (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (Делает тракцию.) Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (Тянет.)

Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

– Было б мне козьей ножкой... – бормочет фельдшер. – Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот палыцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

– Парршивый черт... – выговаривает он. – Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

– Поругайся мне еще тут... – бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. – Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

## Хамелеон

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватается собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сбору. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» – да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пушай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.